



10

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

10

ПАРИЖ

1982

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, А. Пятигорский, В. Турчин, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1982

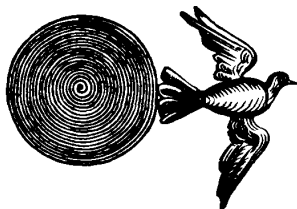
Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Уехавшие и оставшиеся... Мы поддерживаем связь, но насколько мы друг друга понимаем? Чтобы не аукаться в темном лесу, мы десятый номер "Синтаксиса" отчасти и посвящаем этим столкновениям мыслей, идущих отсюда и оттуда. На подобной перекличке и на этом споре идей и может осуществиться нам кажется, единство, пока весьма еще зыбкое, русской культуры. Не "объединение рядов", не создание "программы", а восстановление сложной и разветвленной речи, при всех разнообразных и даже противоположных точках зрения все-таки внятной спорящим сторонам, — такова задача нашего журнала.

Мы в особенности признательны авторам, которые присылают в "Синтаксис" свои статьи и материалы из Советского Союза.

Счастливой Почты!..



СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

Фридрих Горенштейн

С КОШЕЛОЧКОЙ

Авдотьюшка проснулась спозаранку и сразу вспомнила про кошелочку.

— Ух ты, ух ты, — начала сокрушаться Авдотьюшка, — уф, уф... Вчерась бидон молока несла, ручка подалась, прохудилась... Успеть бы зашить к открытию.

И глянула на старенький будильник. Когда-то будильник этот будил-поднимал и Авдотьюшку, и остальных... Кого? Да что там... Есть ли у Авдотьюшки ныне биография?

Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип не учитываемый социалистической статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.

Пока усталый трудовой народ вывалит к вечеру из своих заводов, фабрик, учреждений, пока измученный общественным транспортом в часы пик, втиснется он в жаркие душегубки-магазины, Авдотьюшка уже всюду пошны-

рять успеет, как мышка... Там болгарских яичек добудет, там польской ветчинки, там голландскую курочку, там финского маслица. Можно сказать, продовольственная география. Вкус родимого владимирского яблочка или сладкой темно-красной вишни она уже и вспоминать забыла, да и подмосковную ягодку собирает, как помощь к пенсии, а не для потребления.

В еще живые лесочки с кошелочкой пойдет, как в продовольственный магазин, малинки-землянички подкупит у матушки-природы, опередит алкоголиков, которые тоже по-мичурински от природы милостей не ждут, малинку на выпивку собирают. Так лесочки оберут, что птице клюннуть нечего, белке нечего пожевать. Оберут братьев меньших, а потом на братьев-сестер из трудящейся публики насыдут.

Продаст кошелочку подмосковной малинки — пятидесятиграммовую стопочку по рублю, купит килограмм бананов из Перу по рупь десять кило. Продаст чернички по рупь пятьдесят стопочку, купит марокканских апельсин по рупь сорок кило. Чем не жизнь при социализме? Правильно говорят западные борцы за мир. Жаль только, что в наглядной своей агитации не используют они Авдотьюшкин баланс, Авдотьюшкину прибавочную стоимость.

Социализм — это распределитель. Каждый кушает по заслугам. А заслуженного народа при социализме множество. Едоки с правительственных верхов или с ледовых арен, или с космических высот, или из президиумов творческих союзов общеизвестны, и они вне нашей темы. Наш рассказ не про тех, кто ест, а про тех, кто за ними крошки подбирает.

Справедливости ради следует сказать — трудная это работа. Вот уж где принцип социализма полностью соблюден: кто не работает, тот не ест. Только работа эта не в том, чтоб производить продукты, а в том, чтоб добывать продукты. Принцип, собственно, не новый. Испокон веков продукт можно было либо купить, либо взять разбоем. Но в период развитого социализма оба эти элемента оказались объединенными. Продукт и надо сначала взять разбоем, а потом уж его купить. Ибо не в лесу мы, не на большой

дороге. Соловью-разбойнику здесь делать нечего. Кистень, гирька на веревочке, привязанной к палочке в качестве орудия труда, здесь не проходит. Гирька теперь в товарообмене используется, не для проламывания черепа, а для взвешивания-обвешивания. Хотя череп проломить могут, если как следует "пихнут". Однако про "пихание" ниже. Следует только добавить, что как при всяком труде нужен профессиональный опыт и соблюдение техники безопасности. Авдотьюшка, продовольственная старуха, в торговом разбое участвовала давно, опыт имела, а орудием труда у нее была кошелочка. Любила кошелочку Авдотьюшка и готовясь к трудовому дню приговаривала:

— Ах ты моя кормилица, ах ты моя Буренушка.

И план у нее был заранее составлен. Сперва в "наш" — это магазин, который рядом с домом. Посля в булочную. Посля в большой, универсальный. Посля в мясной. Посля в молочный. Посля в "килинарию". Посля в магазин возле горки. Посля в другую "килинарию". Посля в магазин, где татары торгуют. Посля в овощной ларек. Посля в булочную против ларька. Посля в магазин возле почты...

Нехороший магазин, опасный. Скорее всего там "пихнуть" могут. Народ там неснисходительный, из ближайших домов завода резиновых изделий народ. Но тамбовский окорочок двести граммов Авдотьюшка именно там добыла. Полмесяца назад это приятное происшествие случилось. Однако, авось опять повезет. А пихнут, падать надо умеючи, не так, как Мартыновна. До сих пор в больнице лежит. Полезла к прилавку, а там продотряд пригородных, прибывших на автобусе.

Подобные автобусы в большом количестве направляются местными фабрично-заводскими комитетами из подмосковных городов для ознакомительных экскурсий с культурными объектами столицы: "Третьяковская галерея", достопримечательности Кремля, Большой театр... Народ приезжает крепкий, широкоплечий, или юркий, хитрый. И до зубов тарой вооруженный. Организованный народ. Но о культурных экскурсиях сообщим по ходу...

Время уже на будильнике позднее. Вот-вот откроются продовольственные объекты, и начнется у Авдотьюшки ра-

бочий день. Собрала Авдотьюшка кошелочку, яблочко припасла пососать, валидолчик для спасения, перекрестилась, пошла...

Зашла в "наш" и сразу в горячее дело попала — курдают... Да не мороженных, каменных, а охлажденных и полупотрошенных... Как бы курочку Авдотьюшке. Стара уже Авдотьюшка, острого организм не принимает. Огурчика-помидорчика соленья съест — так рыгает, так рыгает...

Намедни побаловалась помидорчиком соленьим с картошечкой. Вышла подышать. Ноги старые быстро устали. Села на скамеечку. А рядом молодые, он да она, сидят шепчутся — оговариваются и в промежутках целуются. Он ее поцелует, Авдотьюшка рыгнет. Он снова, и Авдотьюшка опять. Он подходит и шепотом.

— Уйди, старая, а то последний зуб выбью.

"Ух, ух — напужал Авдотьюшку, уф, уф".

Но Авдотьюшка не пужливая.

— Я по закону организма рыгаю, — говорит, — а ты против закона общества фулиганишь! Сейчас милиционера позову...

Сильна Авдотьюшка, сильна. Социализм ее права ограждает, старость бережет. Молодежь доцеловываться на другую скамейку ушла, а Авдотьюшка здесь свое дорыгала помидорчиком.

Хорош помидорчик-огурчик, да сердит. А бульончик старые косточки пожалеет, погладит. От куриного мяса голова не тяжелая и поноса нету. Как бы курочку Авдотьюшке, чтоб силы поддержать, не уступить прежде времени место в жизни наглой молодежи.

Пригляделась Авдотьюшка опытным глазом. Очередь хоть и большая, да мирная, вялая, народ говяжий стоит. Лицо — затылок, лицо — затылок... Пошла потихоньку Авдотьюшка, пробирается и к курам приглядывается с любовью. "Цып, цып, цып, — про себя приговаривает старая лисица-сестрица Авдотьюшка, — поем курятинки, поем. Народ говяжий, шуметь не станет. Объем народец на одну курочку". Вот он, курятник на прилавке. Которую курочку цап-царап Авдотьюшка? Которая в кошелочку ляжет?

Да вдруг беда... Беда-злосчастье — слепая идет... Авдотьюшка слепую эту знала и избегала в своей борьбе за продовольствие. Слепая эта была женщина средних лет или даже ниже средних лет, и лицо имела обычное, говяжье, из очередей. Но имела привилегию, не видела окружающую действительность и гордилась этим перед народом, словно она депутат или герой Союза. Придет, сразу вперед лезет, толкается, на народ сердито кричит. Если бы попросила или хотя бы молча подошла, народ бы смолчал. Но идет специально свое превосходство и привилегию показать и набирает много.

— Сколько надо, столько и беру, — кричит, — и еще если слепой придет, возьмет по закону сколько надо, а вы, зрячие, здесь стойте до охрещения.

Кричит и гребет курицы с прилавка... На весы и к себе, на весы и к себе... В руках не кошелочка, рюкзак... Руки крепкие, жилистые... Волчица... И ту курочку сгребла, которую Авдотьюшка себе приглядела. Разозлилась Авдотьюшка, забыла, что сама не в очереди.

— Не по закону, — кричит, не по закону.

Заволновалась и очередь. Мирная-то она мирная, да ведь кастрюли, миски, ложки за спиной — семья. Задние зашумели — не достанется, и передним обидно — два часа в духоте на ногах.

— Не положено, — кричат, — пусть слепым, кривым, глухим отдельный магазин организуют.

А слепая волчица с очередью скандалит.

— Ты сама такая, — кричит.

— Не такая, а такой, — отвечают ей.

Глазами не видит, а когда очередь шумит, мужской голос от женского не всегда отличишь.

— Дура, — кричит.

— Это ты дура, — отвечают ей, — а я дурак, раз третий час на ногах стою.

Сама Авдотьюшка виновата. Не закричала бы, может и очередь смолчала бы... Ох, беда-злосчастье... К такой очереди не подступишься, не выпросишь у такой очереди курочку... Да и слепая волчица слишком много награбила... Ушла с пустой кошелочкой Авдотьюшка. С горя в булочную зайти забыла, сразу зашла в большой магазин.

В большом магазине покою никогда нет. Человек туда нырнул, волны подхватили, понесли... Из бакалеи в гастрономию, из гастрономии в мясной... И всюду локти — плечи, локти — плечи... Одно хорошо — пихнуть здесь не могут, падать некуда. Но локтем в обличье — морду, это запросто.

Вот вывезли на тележке горой плоские коробки селедки. Для Авдотьюшки такая ситуация мед-печенье... Очереди-порядка нет, разбой в чистом виде. Кто схватит. Тут не лисья хитрость Авдотьюшке нужна, а мышьяная. Как в цирке — раз, два — тележка уже пустая. Оглядывается народ, смотрит, что у кого в руках. Мужчины схватили одну-две... Некоторые схватили воздух, стоят злятся. Лидируют крепкие, умелые домохозяйки — по три-четыре коробки. Есть и одинокие старушки среди лидеров. У Авдотьюшки три коробки в кошелочке...

Вообще, если продовольственные старухи объединяются — это грозная сила. Однажды семь старух, в том числе Авдотьюшка, перли к прилавку, друг на друга опираясь цепочкой. А передняя, Матвеевна, которая ныне с переломом в больнице, опиралась на палку-клюку. Всех раскидали, добыли польской ветчинки. Правда, предварительно ситуацию оценивать надо. Например, в такую ситуацию, которая у мясного отдела, лезть нельзя... Что-то вывезли, а что не ясно. Полутолкучка, полупотасовка. Некоторые натянуто улыбаются. Это те, кто пытается свое озверение превратить в шутку. Однако большинство лиц серьезные и злые. Работают...

Ой, уходи, Авдотьюшка. Схватила селедочку, уходи. Селедочка не бульончик, по кишкам плывет щекотно, и отрыжка у ней болезненная... Но ведь хочется. Не докторам же все угождать, и себе угодить надо. Картошечка соль возьмет, а сладкий чаек вовсе успокоит. Схватила жирной селедочки, уходи, Авдотьюшка, пока цела. Уходи, Авдотьюшка...

Да день неудачный, все не так... Поздно спохватилась Авдотьюшка. Было не повернешься, стало не вздохнешь.. И новым запахло — махрой-самосадом, дегтем, дегтем посадским.. Приехали.. Вот и автобусы их экскурсионные

возле универсама. В каждом автобусе передвижной штаб продотряда. Сюда купленное-награбленное сносят. Весь автобус в кулях, мешках, авоськах. В разных направлениях движутся бойцы – крепкорукие мужчины и женщины. А в разведке верткая молодежь. Бежит деваха конопатая.

– Дядя Паршин, тетя Васильчук велела передать, растительное сало дают.

– Какое еще сало, лопоухая?

– Желтое, – радостно кивает конопатая, – я влезла, смотрю, дают... А тетю Васильчук какой-то как поддал плечом...

Но дядя Паршин уже не слушает.

– Ванюхин, Сахненко! С бидоном!

Побежал боевой расчет с бидоном на сорок литров... Ох, много посадских, ой, моченьки нет... И еще бидон вперли.

– Ой, помо... помосите! Помо... сите!

Лихо работает посад. Колбасу, сыр, крупу по воздуху транспортирует. Жатва идет. Не пожнешь, не пожуешь. А не пожуешь, возьмешь партийную газетину – раздражаешься. Худо, если в посаде идеологические шатания начнутся. Посад, это ведь кто? Это лучшие драчуны России... "Мы если хоть как-то сыты будем, кому угодно наkostenяем... Чехам-полякам во имя борьбы за мир на лысину плюнем, чтоб остыли... Мы ж раньше велосипедными цепями, смоченными в керосине, дрались, а танками-ракетами любому империалисту морду набьем. Ты только свистни, ЦК, ты только крикни: "Товарищи, полундра!" Но вовсе без еды никак нельзя, ЦК. Посад твоя опора, батька ЦК, а ты шлюху Московию кормишь... Хотя у тебя и в Московии не всегда водка в наличии для заправки организма".

Вот трое московских пролетариев. Одутловатый в очках митингует.

– Надо председателю Моссовета звонить, что нет водки и мяса.

Это уже в другом месте. Это магазин возле горки.

– В Моссовет звонить надо!

Пролетарий поумней.

– А разве он виноват?

— Кто? А как же? Он обещал сделать Москву образцовым городом... На бумаге... На бумаге... На бумаге!!!
— третий раз крикнул, чуть не раскололся.

Седой пролетарий, по виду общественник, к работнице магазина.

— Почему ничего нет?

Работница магазина:

— Нигде нет.

— Неправда... Вовремя заявку не дали. Где заведующая?

— Идите, — усмехается работница магазина, — в отделе бакалеи.

Пошел... Пошел русский человек правду искать... Любимое занятие. Долго ходить будет... Мы за ним не пойдем, мы за Авдотьюшкой.

Спаслась Авдотьюшка. И кошелочку спасла... Авдотьюшка вдоволь на свете пожила, умная. Она не правду ищет, а продукты питания. Да день такой, что уж не по плану. Зашла в одну "килинарию". Тихо, спокойно, воздух чистый и прилавки чисто прибраны. Хоть бы что туда положили для виду. Хоть бы кость собачью. Продавщица сидит, рукой щеку подперла. Народ входит, ругается-плюется. А Авдотьюшка вошла, постояла, передохнула и спрашивает.

— Лангетика посвежее не найдется, милая? Или антрикотика помягче?

— Ты, видать, бабка, адресом ошиблась, — отвечает ей продавщица, — тебе не в кулинарию надо, а к главному врачу... Не видишь, разве, что на прилавке?

Авдотьюшка не обиделась.

— Спасибо, — говорит, — за совет.

И в другую "килинарию". Заходит — есть! У какой-то "шляпы" почки отбила.

Почки эти как в анатомичке одиноко мокли на блюде и "шляпа" их изучал-нюхал. То снимет очки, то оденет. Авдотьюшка быстро к кассе и отбила.

— Как же, — кричит интеллигент, — я первый.

— Вы нюхали, а мамаша отбила, — говорит торговый работник.

— А другие?

— А других нет... Вот купите деликатес, редко бывает.

Глянул интеллигент — что-то непонятное. Прочитал этикетку: "Икра на яйцо". Пригляделся, действительно, не свежее, но яйцо вкрутую, пополам разрезанное. А на сероводородном желтке черный воробьиный навоз.

— Где же икра?

— Сколько положено, столько есть. Тридцать грамм. А сколько вы хотели за такую цену?

Цена такая, что еще при волюнтаристе Хрущеве, еще накануне исторического октябрьского пленума 1964 года, внесшего перелом в развитие сельского хозяйства, за такую цену двести грамм хорошей икры купить можно было в любом гастрономическом магазине. Быстро же движется Россия, словно за ней собаки гонятся... А куда спешим? Сесть бы передохнуть, подумать, отереть пот со лба. Но попробуй скажи. Политические обозреватели засмеют.

Каждый вечер обозреватели-надзиратели в камеру заглядывают, телевизионную, как в тюремный глазок. Про западные неудачи рассказывают, и про восточные успехи. Успехи, конечно, есть, отрицать нельзя. Икру эту, например, для яйца только на электронных весах взвесить можно, как элементарные частицы.

Так рассуждал язвенник-интеллигент. А Авдотьюшка отбитые у интеллигента почки в кошелочку, и пошла. Оно и лучше. Интеллигент этот почки на сковородку бросит, обуглит, прожует вместе с горечью, сглотнет комками, а потом к нему ночью скорую помощь вызывай. Авдотьюшка же почки в холодной водичке вымочит, горечь сольет, проварит. Мягенькие станут. Потом на сковородку с маслом, ложечку мучицы, лучку добавит. Если и пойдет от почек отрыжка, то спокойная, аппетитная.

Вот так живет Авдотьюшка, продовольственная старуха без биографии. Приспособилась. Заглянет в ее маленький телевизор политический обозреватель — а она почками лакомится. Искажится, перекожится лицо политического обозревателя, заорет он не своим голосом, поскольку телевизор давно неисправный. Да что поделаешь. Икорку или

колбаску сырокопченую уже употреблять запретили, а почки еще жевать разрешено. И иные продукты все ж еще окончательно не реквизированы. Обильна, обильна Россия. В одном месте очередь за индийским чаем, в другом за болгарскими яичками, а в третьем за румынскими помидорами. Стой и бери.

Вошла в молочную Авдотьюшка. Мирный и покойный продукт молоко, безалкогольный напиток. Его младенцы и диетчики потребляют. Случаются здесь и спокойные очереди. Да только не сегодня, когда финское масло в пачках дают.

Голоса из очереди, это не голос очереди. Вообще очередь, как коллектив, еще недостаточно изучена социологами. Очередь формирует психику человека, его отношение к жизни. Да где взять этим социологам опыт Авдотьюшки.

Вошла Авдотьюшка, послушала: очередь звенит, как циркулярная пила, когда на предельных оборотах она на камень натывается... Лицо у очереди гипертоническое, белокрасное. Вот уж поистине кровь с молоком... Авдотьюшка задком, задком и к татарам в магазин, где татарин заведующий, а его жена сок продает...

А на татар украинский степной набег... Махновцы... Форма у всех одна: платки, плюшевые тужурки-кацавейки. Руки тяжелые, багровые, лица малиновые и чесноком дышат...

Хотя и русский человек, особенно почему-то милиционер, в последнее время чесноком дышит... От колбасы, что ли, некачественный состав которой хотят чесноком заглушить?

Перекликаются махновцы.

— Текля, де Тернь?

— З Горпыной за шампаньским пишов.

Если посадские-пригородные грабят предметы первой необходимости, то махновцы грабят предметы роскоши. Привезут на рынок мешки тыквенных семечек или груш скороспелок, набьют мешки деньгами, а потом в те мешки дорогие деликатесы.

Вот Горпына помогает взвалить Текле на плечо мешок шампанского. Вот у Терня в обеих руках раздутые

рюкзаки с плитками шоколада, с коробками шоколадных конфет.

Вспоминаются смазанные дегтем партизанские тачанки с награбленным дворянским имуществом. Но теперь грабеж особый. Не по Бакунину, а по Марксу. Товар — деньги — товар...

Советский магазин — это и история и экономика государства, и политика, и нравственность, и общественные отношения.

Деревянный ларек. Торговля овощами.

— Сейчас закрою, не буду отпускать!

— Не закроешь, это государственная торговля, не частная лавочка. И люди стоят государственные.

Лучшее применение овощам из государственной торговли — выбросить их. Но стоит народ, надеется, что не все сгнили, не все привезли зеленым, незрелым.

Рыбный.

— Две рыбки.

— Я буду еще две рыбки...

— Хулиганка!

— Кто?

— На...

— Себе возьми...

— Пошел...

Идем дальше... Какой-то еще отдел.

— Сколько дают?

— Все равно всем не достанется...

— По два кило...

— Вы стоите?

— Нет, я лежу...

— Что?

— Пошел...

Перманентная холодная война горячего копчения не затихает. Вот где раздолье борцам за мир. Вот где бы иностранным дипломатам изучать проблемы. Взять авоську, набить пустыми кефирными и винно-водочными бутылками, одеть грязную рубашку, постоять перед калорифером, вспотеть и идти в магазин. Надо уметь толкаться локтями, зло пялить глаза и знать по-русски одну фразу.

— Пошел ты...

А конец фразы можно произносить на своем языке. Все понимают, куда посылают. Но иностранец в России личность привилегированная. Она или в "Березку", или на Центральный рынок.

На Центральном рынке изобилие высококачественных продуктов и иностранные марки автомашин. Страна умеет выращивать крепкие солнечные помидоры и прохладные пахучие огурцы, десертные груши с маслянистой мякотью и ароматные персики, которые так красивы, что могут не хуже цветов украсить праздничный стол. Страна может выложить на прилавки нежные желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, индеек. Груды свежего мяса. Куски малосоленного тающего во рту сала, пряной рыбы, жирного бело-кремового творога, густой сметаны... Здесь на Центральном рынке время нэпа, здесь нет поступательного движения вперед к коммунизму, нет перевыполнений плана, грандиозных полетов в космос, борьбы за мир. Здесь приобретенный по обмену руководитель чилийской компартии мирно копается в горах пахучей грузинской зелени, напоминающей ему родную латиноамериканскую.

Хорошо на Центральном рынке. Но и обидно до слез. Хочется подойти к генеральному секретарю чилийской компартии, пока у него лицо не злого пулеметчика, а доброго повара и сказать.

— Уважаемый камрад Лучо, гражданин начальник, — мы б польстили даже ему, на тщеславие бы ставку сделали, — вы же боретесь за освобождение угнетенных и голодных от эксплуатации. Так помогите Авдотьюшке, как интернационалист. Пожалейте Авдотьюшку, раз она сама себя пожалеть не может. Она старая, больная, у нее катар желудка, плохое зрение, больная голова и другие недостатки трудной старости, как следствие трудной молодости. Скажите там, наверху вашим друзьям, товарищам по мировой революции, нашим непосредственным руководителям про Авдотьюшку. И про дураков посадских скажите, их тоже жалко. И про интеллигента в шляпе. И даже про "махновцев", которые мешками шампанского себе сосуды расширяют, сердце надрывают. Вы не обижайтесь, камрад, не зеленейте от гнева, не искажайте свой известный профиль

пламенного революционера. Если про эксплуатацию мы неудачно сказали, то берем свои слова назад. Мы не с крайних позиций выступаем. Мы не согласны с теми, кто считает, что политбюро умышленно мучает Авдотьюшку в очередях и морит ее голодом. Можно было бы расстелить какое-нибудь красное знамя-самобранку и сказать: "Кушайте — наслаждайтесь, Авдотьюшка" — политбюро бы это с радостью сделало. Конечно, гонка вооружений мешает. Но ведь и на Западе гонка, однако берлинские и лондонские старушки в очередях не мучаются. Почему? Сталинский колхоз Авдотьюшку притесняет, главное наследство Сталина нынешним начальникам партии и правительства. Чтоб накормить Авдотьюшку, нужны коренные изменения, равные реформам 1861 года, отмене крепостного права. Конечно, это потяжелей, чем танки куда-либо послать или в космос интернациональный зкипаж запустить. Такие реформы и в прошлом не под силу были одному лишь правительству. Ныне тем более не под силу, какой бы внешней неограниченной властью оно не обладало. Для таких реформ необходима помощь правительству со стороны живого свободного общества.

Мы умеренно с Лучо говорить будем, а он возьмет да и вытащит из кармана милицейский свисток. Потому что каждый из партийных функционеров, какую бы должность он не занимал, остается постовым партии.

Вот те раз... Мы ведь еще конкретное предложение внести не успели. Пока до великих реформ дойдет, Авдотьюшке сегодня жить надо. И посадским. И интеллигенции. На Западе немало теневых сторон, там пособия по безработице. А здесь при развитом социализме, может, пособия ввести для работающих? Чтоб хоть иногда Центральный рынок посещать могли, рядом с вами в грузинской зелени покопаться, рядом с неграми свежего мяса выбрать...

Да где там, уже свистит Лучо, камрадов-интернационалистов из ближайшего отделения милиции созывает... Бежать, бежать надо... А то поведут, глянет Авдотьюшка из ближайшей очереди и скажет посадским.

— Вона, карманника поймали...

Нет политического сознания у Авдотьюшки, нет по-

требности в свободе слова и свободе шествий у посадских. Об этом еще старик Плеханов говорил. Но потребность в мясе у них есть. Хотя в настоящее время на Центральном рынке потребность эту классово чуждый элемент удовлетворяет. Племенные вожди-дипломаты из африканских стран. Колониальное прошлое позади, как бы к людоедскому позпрошлому не вернулись...

Говорят, вкусно человеческое мясо. Молодую свинку напоминает. Один прогрессивный негр-гурман своими соображениями поделился... Может, преждевременно минули времена каннибализма? Может, лучше было бы, если б Гитлер был не вегетарианец, а людоед? Да и Сталин удовлетворился бы тем, что съел зажаренного Зиновьева под соусом "ткемали" и похлебал бы супец из крови Бухарина Николая Ивановича. Есть чернина, польский супец из гусиной крови. А чем человечья хуже? Точно так же можно смешать ее с уксусом, чтоб она свернулась, добавить в бульон из потрохов Николая Ивановича, туда же сушеные фрукты, овощи, лист лавровый... Вкусно... Позавтракает товарищ Сталин кем-нибудь из Политбюро, пообедаст парочкой пожирней из ЦК, а поужинает представителем ревизионной комиссии... Съест один состав, другой на партсъезде выберут. Жалко и этих, но что ж поделаешь, если человеческая история жертв требует. Только раньше их ели, а теперь их жгут или закапывают. Вот и негры теперь уже не те, прогресс свое взял. Покупают свежей свинки, говядинки, баранинки, а кого убьют, в землю закапывают. Продовольственный продукт даром пропадает.

Про негров Авдотьюшке как-то Матвеевна рассказывала.

— Первым, — говорит, — к нам Поль Робсон приехал... Но тот хоть пел, а эти только зубами блестят и зубочистками наш хлеб выковыривают...

Несознательная Матвеевна, интернациональных принципов не понимает. И Авдотьюшка несознательная.

— Ух, ух... Ух ты, ух ты... Бестии какие...

А где же она, наша Авдотьюшка? Совсем ее потеряли.. Да вот же она в передвижной очереди... Имеются и такие... Подсобник в синем халате тележку везет, на тележке

импортные картонные ящики. Что в ящиках, непонятно, но очередь сама собой построилась и следом бежит. А к очереди все новые примыкают. Авдотьюшка где-то в первой трети очереди-марафона... Должно хватить... Взмокли у Авдотьюшки седые волосы, чешутся под платком, сердце к горлу подступило, желудок к мочевому пузырю прижало, а печень уже где-то за спиной ноет-царапает. Но отстать нельзя. Отстанешь, очередь потеряешь. Подсобник с похмелья проветриться хочет на ветру, везет, не останавливается. Кто-то из очереди, умаявшись:

— Остановись уже, погоди, устали мы, торговлю начинай...

А толстозадая из торговой сети, которая в коротком нечистом халате сзади за тележкой ступает.

— Будете шуметь, вовсе торговать не стану.

Тут из очереди на робкого бунтаря так накинулись, затюкали.

— Не нравится, домой иди прохладиться... Барин какой, пройтись по свежему воздуху не может. Они лучше нас знают, где им торговать. Им может начальство указание дало.

Бежит дальше Авдотьюшка вслед за остальными. А пьяный подсобник нарочно крутит-вертит. То к трамвайной остановке, то к автобусной... И толстозадая смеется... Тоже под градусом... Измываются опричники...

В нынешней государственной структуре имеют они непосредственную власть над народом наряду с участковыми, управдомами и прочим служилым людом... Авдотьюшка как-то в Мосэнерго приходит, куда ей добрые люди дорогу указали, плачет. Девчонки молодые там работали, еще не испорченные, спрашивают:

— Что вы плачете, бабушка?

— Бумажки нету, что за электричество плотят. Выключат, говорят, электричество. А как же я без электричества буду? В темноте ни сварить, ни постирать, — и протягивает старую книжечку, исписанную, которую добрая соседка заполняла.

— Ах, у вас расчетная книжка кончилась? Так возьмите другую.

И дали новенькую, копейки не взяли. Как же их Авдотьюшка благодарила, как же им здоровья желала. И сколько же это надо было над ней в жизни поизмываться в разных конторах, чтоб такой страх у нее был перед служивым народом. А здесь не просто служивые, здесь кормильцы.

Бежит Авдотьюшка, хоть в глазах уже мухи черные. А подсобник вертит, подсобник крутит. Куда он, туда и очередь, как хвост. На крутом повороте из очереди выпал инженер Фищелевич, звякнул кефирными бутылками, хрустнул костью. Не выдержал темпа. Но остальные с дистанции не сходят, хоть силы уже кончаются. Спасибо, подсобник перестарался, слишком сильно крутанул, и картонные ящики прямо посередине мостовой повалились... Несколькo лопнуло, и потек оттуда яичный белок-желток. Обрадовалась очередь — яйца давать будут. Легче уже. И товар нужный, и бежать за ним более не надо. Стоит очередь, дышит тяжело, отдыхает, пока подсобник с толстозадой совещаются-матерятся. Выискались и добровольцы перенести ящики с середины мостовой под стенку дома. Началась торговля...

Отходчив душой русский и русифицированный человек... Быстро трудности-обиды забывает, слишком быстро забывает.

В связи с катастрофой приняли подсобник с толстозадой на совещании решение: по просьбе трудящихся отпустить — десяток целых, десяток треснутых яиц в одни руки. И вместо "яйца столовые" присвоить звание и впредь именовать их "яйца диетические" с повышением цены на этикетке. Но при этом будут выдаваться полиэтиленовые мешочки бесплатно. Хорошо. Авдотьюшка целые яички в один полиэтиленовый пакетик, треснутые, уже готовые для яичницы — в другой пакетик, расплатилась по новой цене, все в кошелочку сложила и пошла довольная. Зашла в булочную, хлеба прикупила. Половина черного и батон. За хлебом в Москве пока очередей нет. Если еще за хлебом очередь, значит уж новый этап развитого социализма начался. В целях борьбы с космополитизмом запретят американское, канадское, аргентинское и прочее зерно потреб-

лять. Но пока еще в этом вопросе мирное сосуществование. Хорошо выпечен хлебец из международной мучицы. Мяса бы к нему. Курятины-цыплятины не досталось, так хоть бы мяса... Мясной магазин вот он, перед Авдотьюшкой. Шумит мясной, гудит мясной. Значит — дают. Заходит Авдотьюшка.

Очередь немалая, но без буйства. Обычно мясные очереди одни из самых буйных. Может, запах во времена прашура переносит, когда представители разных пещер вокруг туши мамонта за вырезку дрались? Человеку одичать легче, чем кружку пива выпить. Каждый знаком с некими неясными позывами, с неким томлением в груди. Хорошо еще, если на основании подобных позывов человек принимает решение облить кипятком тещу. А то ведь и важные государственные решения принимаются: газами удавить, расстрелять, в тюрьме сгноить. А дали б такому гражданину, вождю-фюреру возможность без штанов на дерево залезть, может история народов выглядела бы по-иному.

Вот такие мысли приходят в московской мясной очереди, когда ноздри щекочет запах растерзанной плоти. Принюхалась и Авдотьюшка, хищница наша беззубая. Пригляделась... Вона кусочек какой лежит... Не велик и не мал... Эх, достался бы... Авдотьюшка б уж за ним как за ребеночком поухаживала, в двух водах обмыла, студеной и тепловатой, от пленочек-сухожилий отчистила, сахарну косточку вырезала и в супец. А из мякоти котлетушек-ребятушек бы понаделала... Выпросить бы мяса у очереди Христом-Богом. Не злая, вроде, очередь.

Только так подумала, внимательней глянула — обмерла... Кудряшова в очереди стоит, старая вражина Авдотьюшкина... Кудряшова матерая добытчица, становой хребет большой многолетней прожорливой семьи, которую Авдотьюшка неоднократно обирала... У Кудряшовой плечи покатые, руки-крюки. Две сумки, которые Авдотьюшка и с места не сдвинет, Кудряшова может на далекие расстояния нести, лишь бы был груз-продовольствие. Кудряшова и роженица хорошая. Старший уже в армии, а самый маленький еще ползает. Сильная женщина Кудряшова, для очередей приспособленная. Кулачный бой с мужчиной обычной

комплексии она на равных вести может. Но если схватить надо, а такие ситуации, как мы знаем, в торговле бывают, тут Авдотьюшка расторопней Кудряшовой, как воробей расторопней вороны. То кочанчик капусты из-под руки у Кудряшовой выхватит, то тамбовский окорок в упаковке.

— Ну погоди, ведьма, — ругается-грозит Кудряшова, — погоди, я тебя пихну.

— А я мельцинера позову, — отвечает Авдотьюшка, — ишь пихало какое.

А сама боится: "Ой, пихнет, ой, пихнет".

Теперь самое время сообщить, что ж это такое — "пихнуть". Есть старое славянское слово — пхати, близкое к нынешнему украинскому — пхаты. По-русски оно переводится — толкнуть. Но это не одно и то же. Иное звучание меняет смысл, если не в грамматике, то в обиходе оба слова существуют одновременно. Толкнуть — это значит отодвинуть, отстранить человека. Бывает, толкнули и извините, говорят, пардон. А если уж пихнули, так пардону не просят. Потому, как пихают для того, чтоб человек разбился вдребезги.

"Ой, пихнет, — думает Авдотьюшка, — ой, пихнет".

Но очередь тихая, не воинственная, и Кудряшова тихая. Исподлобья на Авдотьюшку косится, но молчит. В чем тут причина? Не в мясе причина, а в мяснике.

Необычный мясник появился в данной торговой точке. Мясник-интеллектуал, похожий скорее на ширококостного из народа профессора-хирурга в белой шапочке на седящей голове, с крепким налитым упитанным лицом, в очках. Мясник веселый и циничный, как хирург, а не мрачный и грязный, как мясник. Очередь для него объект веселой насмешки, а не нервного препирательства. Он выше очереди. Огромными, но чистыми ручищами берет он куски мяса и кладет их на витрину, на мясной поднос. И в ответ на ропот очереди, требующей быстрее обслуживать, без запинки читает "Евгения Онегина".

— Чего там, — ропщет некая с усталым лицом, видать не впервой сегодня в очереди стоит, — чего там... Вы для обслуживания покупателя поставлены.

— Глава вторая, — отвечает ей мясник, —

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали села; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

Странная картина. Странные она вызывает идеи. И неожиданные из нее проистекают выводы. Первый вывод — Пушкина мясной очереди должен читать мясник. Собственно, это главный вывод, ради которого есть смысл немного поразмышлять в духоте магазина. Цинично, вульгарно бренчит мясник на Пушкинской лире, но все ж чувства добрые пробуждает. Народ безмолвствует, соответственно финальной ремарке из "Бориса Годунова". Тихо стоит. Не слушает Пушкина, но слышит. Попробуй прочесть мясной очереди Пушкина крупный профессор-пушкинист или известный актер-исполнитель. Хорошо, если это вызовет только насмешки. А то ведь еще злобу и ненависть. Нет, культуру народу должна нести власть. Скажете, что ж это за культура, что ж это за Пушкин? Ответим на это совсем с иного конца. Ответим тоже вопросом. Вам приходилось наблюдать, как восходит солнце? Не над пышной субтропической зеленью, которая знает, что такое солнце, которая сознательно живет им и которая академически солидно ждет его восхода. И не над тихой поросшей травой лесной поляной, которая сама составляет крупницу солнца, которая верит в него и для которой восход солнца есть ее собственное интимное чувство. Мы имеем в виду восход солнца над безжизненными северными скалами. Казалось бы, зачем мертвому жизнь? Зачем холодным камням солнце? Спокойно, тяжело, монотонно лежат камни в

глухой ночи, покрытые льдом и снегом, безразлично встречают камни серый, короткий день, принимая на бесчувственную грудь свою острые порывы ветра. Но восходит над ними солнце, слабое подобие жаркого, плодоносного или ласкового мягкого знакомого нам солнца, восходит солнце, от которого субтропической зелени или лесной полянке стало бы страшно и тоскливо. А скалы вдруг меняются. Розовеют камни, мох да лишайник появляются, и какое-то невзрачное насекомое выползает из расселины навстречу этому короткому празднику. Хоть и не осознает, может, откуда пришел свет, почему утих ветер, почему нет безразличия к холоду и что это за новое не чувство даже, а ощущение теплоты и покоя. А взойди над северными камнями южное или даже мягкое умеренное солнце, это была бы катастрофа. Потрескались бы холодные камни, высох лишайник, погребло бы, сгорело невзрачное насекомое. Холодному северу нужно холодное солнце.

Вы скажете, пример слишком уж отдален от поставленного нами вопроса. Слишком много разного смешано. Природные явления, очередь в мясном магазине и приобщение народа к культуре. Однако, нет здесь эклектики. Души человеческие так же разнообразны, как природа, но способны к большим переменам. Холодное солнце официальной культуры может сделать эти перемены плодотворными. Вот где б только найти просвещенных мясников, помнящих наизусть "Евгения Онегина"? Остро отточенный топор редко сочетается даже с дурно настроенной лирой.

Так думал интеллигент-"шляпа" без почек, стоя в мясной очереди и наблюдая, как под брэнчащие, но все-таки звуки Пушкинской лиры народ получает мясо. Притих народ. Размяк народ.

— Мы согласны с вами, — кто-то из очереди размякший мяснику, — нам бы мяса.

Глаза мясника сверкают насмешкой за стеклами профессорских очков, но хирургически чистое ручище держит тяжелый мясной топор. Решается Авдотьюшка.

— Мне б мяса, — говорит жалобно, — стоять не могу, ноги не держат.

Народ устал, настоялся народ, недоволен народ. Но просвещенный мясник учит народ деяниями своими.

— Вам какого, бабушка? — соизволил проявить милость монарха мясник.

— Мне бы этого, — и пальцем в облюбованный кусок.

Берет мясник кусок своими белыми ручищами. Хорош, сочен кусок. И косточка рафинадная. Глазам своим не верит Авдотьюшка. Счастье-то какое.

— С праздничком вас, — это она мяснику польстить хочет, чтобы не передумал.

— Я вам признателен, — отвечает мясник, — с каким? Партийным или церковным?

Ропот рассеивается. Весело народу, хоть и тесна очередь. А вместе с весельем и сознание появляется.

— Нам тяжело, — говорит кто-то, — а старикам одиноким как же?

Тянется к мясцу Авдотьюшка. Не дает мясник. Даже разволновалась Авдотьюшка. И напрасно.

— Разрешите, я вам в кошелочку положу, — говорит мясник.

Легло мясо в кошелочку. Повернулась радостная Авдотьюшка уходить, а мясник ей вслед.

— Спасибо за покупку.

— Дай Бог здоровья, — отвечает Авдотьюшка.

Вышла Авдотьюшка, идет — улыбается. За угол зашла, из кошелочки мяса кусок вынула, как ребеночка понячила и поцеловала. Может, цыплятина и лучше, да цыплятина не родная, Авдотьюшкой не куплена, а это мясо свое. Плохо день у Авдотьюшки начался, да хорошо кончается. Раз везет, значит этим попользоваться надо. Решила Авдотьюшка в магазин сходить далекий, который редко посещала. "Ничего, там по дороге скамеечка, посижу и дальше пойду. Авось чего-либо добуду..."

Пошла Авдотьюшка. Идет, отдыхает, опять идет. Вдруг навстречу дурак. Знала она его в лицо, но как зовут, не знала.

Дурак этот был человек уже не молодой, голову имел обгорелую и потому всегда кепку носил. Ездил этот востроносый дурак городским транспортом и из бумаги

профили людей вырезал. Похоже, кстати, но за деньги. А ранее работал дурак на кожевенном комбинате художником. Однако раз вместо лозунга: "Выполним пятилетку за четыре года" написал: "Выполним пятилетку за шесть лет". Чего это ему в голову пришло? Впрочем, родной брат дурака, герой-полковник, ордена, квартира в четыре комнаты, почетный ветеран Отечественной войны и вдруг публично заявил: "Сегодня по приказу Верховного главнокомандующего товарища Сталина в городе выпал снег". А товарища Сталина к тому времени не то что на этом свете, но и в мавзолее-то уже не было. Как же он мог снегу приказать? Думали, неудачно шутит полковник, пригляделись, искренно излагает и глаза нехорошо блестят. Одним словом, дурная наследственность. Может, оно и так, дурак-то он дурак, но говорят, что младший брат полковника художник, подальше от своего района, там где его знают поменьше, подошел к самой пасти кровожадной свирепой многочасовой очереди на солнцепеке, выстаивавшей к киоску, где продавали раннюю клубнику, и произнес: "Именем Верховного Совета СССР предлагаю отпустить мне три килограмма клубники". При этом он предъявил собственную правую руку ладонью вперед. Ладонь была пуста, но народ ему подчинился, и он взял три килограмма клубники... Вот тебе и дурак...

Увидел Авдотьюшку дурак и говорит:

— Бабка, а в пятнадцатом магазине советскую колбасу дают... И народу никого.

Мужчина, который рядом шел и тоже услышал, говорит:

— Что это вы болтаете... У нас вся колбаса советская, у нас еврейской колбасы нету.

— Вкусная колбаса, — отвечает дурак, — пахучая. Я такой давно не видал.

— Да он же того, — шепотом Авдотьюшка мужчине и себя по платку постучала.

— А, — понял антисемит и пошел своей дорогой.

Пятнадцатый же магазин тот, куда Авдотьюшка шла. Приходит. Магазин длинный, как кишка, и грязней грязного. Даже для московской окраины он слишком уж гряз-

ный. Магазин, можно сказать, сам на фельетон в газете "Вечерняя Москва" напрашивается. Продавицы все грязные, мятые, нечесанные, стоят за прилавком, как будто только что с постели и вместо кофе водкой позавтракали. И кассирша сидит пьяная, а перед ней пьяный покупатель. Лепечут что-то, договориться не могут. Она на рязанском языке говорит, он на ярославском. А подсобники все с татуировкой на костлявых руках и впалых, съеденных алкоголем грудях... У одного Сталин за пазухой сидит, из-под грязной майки выглядывает, как из-за занавески, у другого орел скалится, у третьего грудь морская — маяк и надпись "Порт-Артур".

Знала Авдотьюшка про этот магазин, редко здесь бывала. Но ныне пошла. Заходит Авдотьюшка озираясь, видит всю вышеописанную картину и уже назад хочет. Однако глянула в дальний угол, где написано — гастрономия. Глянула, глазам не поверила. Правду сказал дурак. Лежит на прилавке красавица-колбаса, про которую и вспоминать Авдотьюшка забыла. Крепкая, как темнокрасный мрамор, но сразу видно, сочная на вкус, с белыми мраморными прожилками твердого шпига. Чудеса, да и только. Как попало сюда несколько ящиков деликатесной, сырокопченой, партийной колбасы, словно бы прямо из кремлевского распределителя? И почему ее сам торговый народ не разворовал? Видать, по пьянке в массовую торговлю выпустили. И этикетка висит — колбаса "Советская". Не соврал дурак. Цена серьезная, но те, дешевые, с крахмалом и чесноком. Матвеевна говорила, в колбасу мясо водяных крыс подмешивают, из шкур которых шапки шьют. А здесь мясо чистокровное, свинина-говядина. И мадерой мясо пахнет... Чем ближе Авдотьюшка подходит, тем сильнее запах чувствует. Это ж если тонко нарезать, да на хлеб, надолго празднично можно завтракать или ужинать.

А ведь было время, ужинала Авдотьюшка не одна. Самовар кипел червонного золота, баранки филипповские. Он красавец был. И у Авдотьюшки коса ржаная. В двадцать пятом году это было... Нет, в двадцать третьем... Колбаски полфунта в хрустящем пакете. Колбаска тогда по-другому называлась, но эта она, самая... Принесет, говорит: "Употребляйте, Авдотья Титовна. На мадере приготовленная". И балычку принесет... "Употребляйте" — говорит.

— Ну что, девка, — говорит Авдотьюшке пьяная нечесанная продавщица, — покупаешь колбаски? Раз в десять лет такую колбаску достать можно.

А Авдотьюшка не отвечает, ком в горле.

— Какую берешь? — спрашивает продавщица, — эту? — и поднимает крепкий сырокопченый батон.

А Авдотьюшка не видит, слезы в глазах.

— Чего плачешь? — спрашивает продавщица, — зять из дому выгнал?

— Нет у меня зятя, — еле отвечает Авдотьюшка и всхлипывает, и всхлипывает.

— У ней, видать, украли что-то, — предположил подсобник с морской грудью, — украли у тебя что-нибудь, старая?

— Украли, — сквозь слезы отвечает Авдотьюшка.

— Ты что ль, Микита? — и к тому, у которого Сталин из-за майки-занавески выглядывает...

Микита этот, кстати, Сталиным своим очень гордился и в разных местах, за разными бутылками одну и ту же историю рассказывал про сержанта, которого в сорок пятом году расстреливать должны были, так как он немку-малолетку изнасиловал... Отомстил немецким карателям, которые сожгли его хату со всем, что в ней было живого и неживого. Насилует сержант немку и плачет, и кричит: "За мать мою, Василису Тихоновну! За деда Прокопа! За сестру Надьку! За пацанят Надькиных Леньку и Женьку и за пацанку Надькину Людку!" А в конце вогнал немке в то самое место бутылку с криком: "Смерть немецким оккупантам!" Умерла немка, а сержанта приговорили к расстрелу. Вывели его расстреливать, он рубаху на груди разорвал, там Сталин. И не расстреляли, послали в штрафной батальон... Правда, всякий раз по-новому Микита рассказывал. Иногда сержант этот был из другого полка, иногда из соседней дивизии, а иногда он сам Микита этим сержантом и был...

— Ты что ль, Микита?

— Да я ее в глаза не видел, — отвечает Микита, — у ней старой только геморрой украсть можно.

— Украли, — говорит Авдотьюшка и слезы льются, льются... Давно так не плакала.

— Украли, в милицию иди, не мешай торговле, — говорит продавщица и сырокопченный батон на весы кладет, антисемиту вешает.

Видно опомнился антисемит, вернулся, поверил дураку. И другой народ подходит все более и более. Растрезвожил дурак про советскую колбасу.

О советской колбаске следует сказать особо. Колбасные очереди наряду с очередями апельсиновыми являются главным направлением торговой войны между государством и народом. Мы с вами в настоящих колбасных и апельсиновых очередях не стояли, потому что Авдотьюшка их избегает. Хитра Авдотьюшка, и посадские хитры. И украинцы-маховцы редко там попадают. Они больше по окраинам, где какой дефицит выбросят. Кто же стоит-воюет в тех очередях? Вокзалы. А что такое вокзалы? Это сам СССР. Но за апельсинами СССР поневоле стоит. Выращивает СССР в обилии вместо груш-яблок автомат "калашников", а третий мир апельсин выращивает. Натуральный обмен вне марксова капитала. Не свой, не привычный продукт — апельсин. От него у СССР отрыжка горько-кислая. Не серьезный продукт апельсин, под водку не идет. Детишкам дать погрызть, разве что. Иное дело колбаска...

В колбасных Москвы вокзальный дух, вокзальная духота... Кажется, вот-вот прямо в московских колбасных, вызывая головную боль, закаркает диктор.

— Внимание, начинается посадка на поезд номер...

И пойдут поезда прямо из московских колбасных на Урал, в Ташкент, в Новосибирск, в Кишинев... Вокзальный народ не буйный. Посад хитер, а вокзал терпелив. Хитрость — она резиновая, а терпение — оно железное.

Раньше в московских колбасных приятно пахло копченостями. Теперь там запах давно не мытых дорожных тел. Да не просто тел. Ногами в колбасных воняет. Намученными взопревшими ногами. Не на час, не на два, на целый день вокзал устраивается. Садятся некоторые передохнуть, разуваются. Железо ждать умеет. И свое соображение у железа тоже есть. Знает, какие продукты на какие расстояния везти можно. Ведь образование в СССР шагнуло далеко вперед. Высок в очередях процент образованного на-

рода. Инженеры стоят, химики-физики... Стоят, рассчитывают... До Горького мясо доезжает и маслице. А до Казани мясо протухает, но колбасы вареные выдерживают. За Урал копчености, чай, консервы везти можно. Апельсины те же для баловства ребятишкам. Но лучше нет настоящей копченой колбаски. И терпеливо железо стоит. Стоит СССР в очередях за колбасой. "Эх, милая, с маслицем тебя да с хлебцем, как в былые времена".

Опомнилась и Авдотьюшка.

— Я первая, — кричит, — я очередь первая заняла.

Куда там, оттерли. Обозлилась Авдотьюшка, уж как обозлилась: "Народ нынче оглоед, народ нынче жулик". Разошлась Авдотьюшка от обиды. Платок с головы сбился. Об кого-то кулак свой ушибла, об кого-то локоть рассадила. Поднатужилась Авдотьюшка, попробовала пихнуть. Да тут ее саму пихнули. Какой-то, даже не оборачиваясь, задом пихнул. А зад у него передовой, комсомольско-молодежный, железобетонный.

В больнице очнулась Авдотьюшка. Очнулась и первым делом про кошелочку вспомнила.

— А где же моя кошелочка?

— Какая там кошелочка, — отвечает медсестра, — вы лучше беспокойтесь, чтоб кости срослись. Старые кости хрупкие.

Но Авдотьюшка горюет — не унимается.

— Там ведь и мясо было, и селедочка, три короба, и хлебец, и яйца, два пакета... Однако пуще всего кошелочку жалко... Где ж она теперь, моя кормилица, где ж она теперь, моя Буренушка?

В той же больнице, где Авдотьюшка, инженер Фишелевич лечился, кибернетик низкооплачиваемый. В больнице, как в тюрьме, люди быстро знакомятся.

— Юрий Соломонович.

— Авдотья Титовна.

— У вас, Авдотья Титовна, что?

— Пихнули меня.

— А что это такая за болезнь, — иронизирует Фишелевич, — у меня, например, перелом правой руки.

Пригляделась Авдотьюшка.

— Точно, — говорит, — тебя из очереди в правую сторону выбросили, я вспомнила. Но не горюй. Без яиц остаться не так обидно, как без колбасы.

Среди больных заслуженная учительница была с тазобедренным переломом. Начала она обоих стыдить.

— Как вы можете вслух такие анекдоты рассказывать.

— Какие анекдоты, — говорит Авдотьюшка, — все правда святая... Яйца болгарские, а колбаса советская.

— Вы еще и антисоветские анекдоты про Варшавский договор здесь рассказывать вздумали, — возмущается учительница и еще более стыдит, а особенно Фишелевича, того по еврейской линии стыдит и обещает выполнить свой гражданский долг.

— Позвольте, — пугается Фишелевич, — слова Авдотьи Титовны советская печать подтверждает, — и достает из тумбочки большую книгу в коричневом переплете.

Часто читал Фишелевич эту книгу, и все думали — роман читает.

— Вот, — говорит Фишелевич, — вот сказано: к наилучшим деликатесным сырокопченым колбасам заслуженно причисляют колбасу советскую. В ее фарш, приготовленный из нежирной свинины и говядины высшего сорта, добавляют очень мелкие кубики твердого шпига, который дает на разрезе привлекательный рисунок. Обогащает вкус и аромат советской колбасы коньяк или мадера и набор специй. Перед использованием рекомендуется нарезать колбасу тонкими полупрозрачными ломтиками.

— Вот оно как, — говорит шофер, который с переломом обеих ног в кресле на колесиках передвигался, — вот оно, значит, как ее начальство нарезает.

Тут опять учительница.

— Это, — говорит, — диссидентская книга... Эту книгу диссиденты распространяют, чтоб над нашими временными трудностями поглумиться... Негодяи, сионисты... Но знайте, ироды, что я старая контр-антисоветчица, — и зарыдала от обиды и от невозможности всех приговорить к расстрелу.

Дали ей успокоительную таблетку. Но ведь права, ведь права депутатка райсовета. В нынешний период раз-

витого социализма кулинарная книга о вкусной и здоровой пище есть самая диссидентская, подрывная и насмешливо-сатирическая. Однако и Фишелевич хитер. Хитер Фишелевич.

— Извините, — говорит, — книга одобрена институтом питания Академии медицинских наук СССР. Главный редактор академик Опарин.

— Раз одобрено академиком СССР, — говорит шофер, — значит читай дальше.

И с тех пор часто читал Фишелевич книгу вслух. Много нового узнал из нее большой народ. И про сервелат, и про колбасу слоеную, и про уху из стерляди, которую лучше всего подать с кулебякой или расстегаем. В тарелку с ухой можно положить кусок вареной рыбы.

— Любите рыбку, Авдотья Титовна?

— Уважаю...

— А я люблю мясо с лапшой.

Это уже неизвестно кто реплику вставил. Даже неизвестно какой у него перелом. А подавай ему мясо с лапшой.

— Ваша фамилия?

— Шаргомьжский.

— Отлично... Читаем дальше.

А дальше про ростбиф целая новелла. И про индейку жареную поэма. И про заливную ветчину по-русски. При чем было сказано: хрен подается отдельно.

— Это верно, — сказал шофер, — по-русски теперь хрен подается отдельно.

От такого чтения у учительницы поднялась температура и она перестала выходить из своей палаты. А Авдотьюшка слушает, слушает. "Эх, все бы это да в кошелочку". Кошелочка-кормилица ей родным существом была. Она ей по ночам несколько раз снилась. Привыкла Авдотьюшка к своей кошелочке. Как это она другую сумку возьмет, с ней по очередям ходить будет. Печалится, горюет Авдотьюшка. Однако раз медсестра говорит.

— Родионова, вам передача.

Родионова — это Авдотьюшки фамилия. Глянула Авдотьюшка — кошелочка... Еще раз глянула — кошелочка...

Не во сне, наяву — кошелочка... Мяса нет, конечно, и яичек, да и из трех селедочных коробок — одна. Но зато положена бутылка кефира, пакетик пряников и яблочек с килограмм...

Как Авдотьюшка начала свою кошелочку обнимать, как начала Буренушку гладить-баловать... А потом спохватилась — кто ж передачу принес? Одинокая ведь Авдотьюшка. Полезла в кошелочку, на дне записка корявым почерком: "Пей, ешь, бабка, выздоравливай". И подпись — "Терентий". Какой Терентий?

А Терентий — это тот подсобник с морской татуировкой, с "Порт-Артуром" на груди.

Значит, и в самых темных душах не совсем еще погас Божий огонек. На это только и надежда.

апрель 1981 год.

Западный Берлин.

**ЗАКАЗЫВАЙТЕ
В РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ**

**ПОИСКИ
И
РАЗМЫШЛЕНИЯ**

МОСКОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Цена каждого выпуска 20 франков

Михаил Рейман

КИТАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Весной прошлого года мне вместе с несколькими друзьями по чехословацкой эмиграции — А. Мюллером, З. Млынаржем и З. Гейзларом — довелось побывать в Китае. Наша поездка была информативной, она была согласована с китайской стороной. Китай привлекал нас уже как громадная страна, обладающая самостоятельной культурой и цивилизацией, о которой мы имели весьма смутное представление. Основным же был, конечно, интерес к современному положению в стране, к тем изменениям, которые произошли в ней после смерти Мао, стремление разобраться в противоречивом потоке информации, приходящих из Китая в Европу. Наше отношение к общественно-политическому строю Китая, с которым нам предстояло ближе познакомиться, было настроенным: оно диктовалось нашим опытом с режимами сходного типа в Средней Европе и в СССР. С другой стороны, это не лишне подчеркнуть для русского читателя, нам была чужда недоброжелательная предвзятость. Китай никогда не представлял угрозы нашему государственному или национальному существованию. В 1968 году китайское руководство резко осудило реформаторский курс Дубчека, усмотрев в нем одно из последствий советского "ревизионизма", но затем оно еще более резко и безусловно осудило советскую оккупацию Чехословакии, превратив отвод советских войск в одно из условий нормализации своих собственных взаимоотноше-

ний с СССР. Это был вне всякого сомнения — здесь бесполезно говорить о "корысти", делая вид, что в мире есть правительства, действующие "бескорыстно", — дружественный акт по отношению к народам нашей страны.

Нашими собеседниками с китайской стороны были функционеры разных ступеней управления, хозяйственники и научные работники. Многие из них благодаря нашему посредничеству впервые получали возможность ближе познакомиться с одной частью средневропейской оппозиции, с ее взглядами и мнениями по ряду вопросов. Такое знакомство могло им казаться тем более интересным, что оно совершалось под свежим еще впечатлением событий в Польше, подтвердивших вновь (после событий 1956 и 1968 гг.) не только общеполитическую значимость оппозиции, но и ее влияние на взаимоотношения стран Средней Европы с СССР. С другой стороны, как мы смогли вскоре убедиться, к этим внешнеполитическим обстоятельствам присоединялись и существенные обстоятельства внутреннего порядка: проблематика преодоления последствий "культурной революции", поставившая в повестку дня реформы общественной и политической жизни Китая. Интерес наших собеседников к опыту реформ в средневропейских странах был несомненен — и это одно из наиболее благоприятных впечатлений от всей поездки в целом.

Мы были в Китае около трех недель. Наши хозяева приложили немало усилий для того, чтобы показать нам свою страну, показать ее, конечно, не с худшей стороны. Тем самым мы получили возможность посетить ряд городов, побывать на предприятиях, в земледельческих коммунах, в научных учреждениях, беседовать со многими людьми. Я, однако, не хотел бы переоценивать значение виденного и слышанного нами. Мы очень бегло познакомились лишь с небольшим, хотя и немаловажным кусочком страны: Пекином и частью Центрального Китая в нижнем течении Янцзы — Нанкином, Вуши, Шанхаем и близким к ним Ханчжоу. Барьер языка и письменности создавал почти всегда необходимость в посредниках, что в свою очередь затрудняло и без того небольшие возможности неформальных контактов с людьми. Мы задавали "неприятные вопросы", но получить ответы, которые не сообразовыва-

лись бы с официальными мнениями, было затруднительно и удавалось редко. К этому присоединялось и то обстоятельство, что самостоятельное передвижение европейца по китайской улице дело далеко не легкое: он рискует быть заключенным в плотное кольцо настырных любопытных, с которыми ему никак не договориться. В силу всего этого я не решился бы здесь говорить о виденном и слышанном как о непреложных фактах. Речь идет о впечатлениях иностранца, впервые попавшего в страну, а потому способного во многом ошибаться. Тем не менее значение таких поездок, как наша, заключается, конечно, не в точности информации, а в том особом видении разных аспектов чужой жизни, которое доступно лишь взгляду со стороны.

Бедность Китая как фактор его общественного строя

При первом соприкосновении с Китаем меня, да и нас всех, поразило множество внешних черт сходства обстановки со странами "реального социализма", особенно с СССР, сохранившееся несмотря на долгие годы разрыва. Сходство ощущается уже в архитектуре громадного и полупустого пекинского аэропорта, в характере реакции пограничников, таможенников и встречающих — на "иностранных гостей". Больше, конечно, это внешнее сходство заметно в самом Пекине, в своеобразной комбинации крайне бедного, невзрачного и неухоженного старого города — это не касается большой площади под императорскими дворцами и парками — с прорастающими через него по-советски помпезными или безличными крупноблочными зданиями новой застройки. Общая планировка города — не берусь судить, что существовало уже прежде, а что вновь создано или создается, — также напоминает московскую: широкие проспекты и большие, просторные площади, обстроенные казенными зданиями в стиле "социалистического классицизма", с той только разницей, что в их оформлении используются элементы не русской, а китайской дворцовой архитектуры. Вы найдете здесь свой "Кремль" — Запретный город, свою "Красную площадь" с мавзолеем — не Ленина, а Мао — Тянь-ан-мен, свою "улицу Горького" — Чан-ан, с пролегающей вдоль нее первой линией пекинского ме-

тро. Если всмотреться, то чем-то не вполне уловимым пекинская уличная толпа напоминает московскую, только, возможно, не сегодняшнюю, а ту, что наполняла Москву в годы моей учебы, лет тридцать тому назад. Это впечатление может возникнуть от сходства некоторых деталей одежды или способа ее ношения (вернее занашивания), скорее всего оно обусловлено большим притоком деревенского населения в города, особой повадкой людей деревни, уже привыкших к большому городу, но все еще не избавившихся от элементов "деревенского" поведения, реакции на среду и события улицы.

Впечатление сходства еще более возрастает после первых контактов и разговоров с людьми: сходный набор основных понятий, сходные институты общественной и государственной жизни, сходность многих элементов политического опыта. Можно с ходу понимать друг друга, вести разговоры на многие темы без риска быть непонятым.

Но все это действительно первые впечатления. Они, конечно, особенно при определенном настрое ума, могут утвердить в убеждении, что Китай является лишь частным вариантом страны "реально существующего социализма". Они могут, однако, также вести и к более острому восприятию его несомненных существенных отличий от стран советского блока.

Первое, что резко отличает Китай от стран советского блока и вокруг чего нельзя пройти не заметив, это его бедность. Я не говорю о чем-то новом. Бедность Китая не скрывается сегодня китайскими властями, о ней не так давно говорил в своем выступлении также новый китайский премьер. Китайская бедность — это, во всяком случае в тех местах, где мы побывали, не бедность разорения и голода, хотя я не сомневаюсь в наличии голодных (Китай в начале года в связи со стихийными бедствиями и неурожаем в некоторых районах обращался за помощью в международные организации). Она также лишь частично сравнима с бедностью советской. Это не бедность пустых прилавков страны, которая могла бы жить в относительном достатке, но расходует свои силы на непосильное бремя исключительно разросшейся военщины и милитаризма. Китайские магазины, в которых нам удалось побывать, бы-

ли снабжены неплохо, очередей было не видно. Разумная политика цен и зарплаты сжимает, по всей видимости, потребление до обеспечимого уровня. Военные, наполняющие города, не щеголяют ни погонами, ни лампасами, они выделяются из толпы только зеленью своих мундиров. Китайская бедность разносторонняя, она имеет много обличий. Бросаются в глаза в особенности три ее черты: это, во-первых, бедность общества, которое не сумело своевременно расстаться с традиционной обстановкой, способом и стилем жизни и которое и до сего дня — о причинах надо было бы говорить особо — не сумело обеспечить себе необходимой динамики роста; это, во-вторых, бедность перенаселенности. Китай только недавно пережил совершенно исключительный по своим размерам взрыв рождаемости. Большинство его жителей относится сегодня к возрастной группе до 25 и до даже 18 лет. Города переполнены людьми. Не надо большой фантазии, чтобы представить себе, какие трудности и проблемы это создает. В прошлом Китай пережил уже раз эпоху, когда взрыв рождаемости подорвал мощь страны, сделав ее легкой добычей других держав. Справиться с этим сегодня будет также отнюдь не легко. В-третьих, китайская бедность — это также бедность уравнительности, созданной революцией. В прежних европейских столицах Китая — Шанхае и Нанкине — она проявляется несомненным падением общего уровня жизни. Ее повседневной основой является, однако, неразвитость потребностей массы людей, скромность их жизненных запросов и представлений о достатке.

Бедность Китая бьет в глаза уже во внешнем виде городов. Громадные площади заняты зданиями старой постройки: одно- и двухэтажными домами местечкового или даже деревенского типа, домами покосившимися, давно, а может быть, и вовсе не ремонтировавшимися. Неудовлетворительность жилья, обстановки, всего быта видна даже при беглом взгляде с улицы. Я застал еще деревянную Москву, видел не одну коммунальную квартиру и не одно рабочее жилье, но то, с чем мы столкнулись в Китае, в целом значительно беднее.

При всем том поражает ограниченность нового строительства; она является одним из тех факторов, которые

сразу же наводят на мысль о недостаточности роста. Я не знаю статистики, быть может, она и выглядит неплохо.* Тем не менее ощущение недостаточности строительства охватывает вас уже при первом соприкосновении со страной и не покидает в дальнейшем. Новое строительство нигде, кроме ряда районов Пекина, не запомнилось мне как существенный элемент городской архитектуры (разумеется, я не беру во внимание европейские постройки Шанхая или Нанкина, относящиеся к дореволюционному прошлому).

Я не хочу утверждать, что нового строительства в Китае вообще нет. Такое строительство есть, власти пытаются создать в новых домах более сносные жилищные условия. Существуют нормы заселения квартир. В Шанхае мы посетили городской поселок, бывший новым лет тридцать тому назад. Норма заселения: 5 кв. м. на человека. Но сюда уже ворвалось обратное действие недостаточного строительства: реальность, по нашей оценке, не превышает 2 кв. м. в коммунальной квартире. При этом сопровождавшие нас утверждали, не верить им не было оснований, что заявок на новые квартиры не слишком много. Люди, очевидно, не считали свои квартирные условия неудовлетворительными и знали — почему.

Но если ограниченность городского строительства является одним из свидетельств недостаточности роста, то ее вторая, не менее яркая черта — это общая слабость того впечатления, который на китайское общество накладывает современная промышленная цивилизация. Я не хочу настаивать на том, что наличие промышленности в китайских крупных городах, за исключением разве что Шанхая, мало заметно. Это можно отнести за счет того, что в любом из этих городов мы были очень недолго; кроме того, мы не были в Маньчжурии, а она наиболее развита в промышленном отношении. Я не хочу также говорить об общем впе-

* Уже после того, как эти строчки были написаны, мне попали в руки официальные китайские документы, говорящие о многократном росте производства за последнее тридцатилетие. Такие данные весьма относительны, т. к. они лишь подтверждают крайнюю ограниченность исходной базы роста. Иностранец же сравнивает не с прошлым, которого он не знает, а с действительностью других стран. Поэтому я решил ничего не исправлять.

чатлении от предприятий, которые мы посетили. В большинстве своем это были далеко не ведущие заводы. Я не слишком разбираюсь в промышленной технике, но, по моему мнению, она была на уровне европейских двадцатых-пятидесятых годов: механизация без автоматизации и с большим участием индивидуального труда рабочего, даже, на удивление, в производстве некоторых серийных изделий. Этому в целом соответствовали и организация, и режим труда, который на первый взгляд не казался невыносимым.

Впечатление промышленной неразвитости возникает еще на пути в Китай: мы летим на "подержанном" боинге, который не внушает слишком большого доверия (можно ли было предполагать, что на внутренних линиях мы, наоборот, полетим на новых машинах!) и шутим насчет того, переживем ли следующую посадку. Пекинский аэродром, аэродром громадной державы, самой населенной страны мира, зияет пустотой. Здесь не только не видно многочисленных самолетов крупных международных компаний, что свидетельствовало бы лишь о международной изолированности, но не найдется и больше двух-трех самолетов китайских национальных аэролиний. Та же картина затем на аэродромах двух других, по сути дела столичных городов — Нанкина ("Южной столицы") и Шанхая.

Еще красноречивее китайская улица, она заслуживала бы особого описания. Основное средство городского транспорта — велосипед. Велосипедов здесь десятки и сотни тысяч, в часы пик они разливаются во всю ширину улиц. Обратной стороной медали является то, что отсутствует, конечно, не по соображениям экономии энергии, густой автомобильный транспорт. Легковых машин очень мало, даже в Пекине; по улицам передвигаются преимущественно автобусы городской сети, а также грузовики. Это не большие контейнерные машины европейских и американских шоссе — я сильно подозреваю, что грузовое сообщение в Китае по шоссе на дальние расстояния приближается к нулю — а более мелкие машины с преобладанием студебеккеров и полупороков. Но и грузовиков и автобусов не столь уж много, решительно меньше, чем вы могли бы предполагать при существующей густоте населения и связанных с нею проблем снабжения и транспорта.

Слабость городского транспорта поддерживает ваше представление о слабой насыщенности городов промышленностью. И это же гармонирует с характером городской застройки, а также с внешним видом уличной толпы.

В относительной слабости промышленного развития Китая вас убеждает еще одна черта китайской действительности, с которой вы сталкиваетесь почти повсеместно. Я знал ее еще по СССР, но здесь это проступало куда более контрастно: речь идет о резком противоречии между филигранным качеством ремесленного труда, сохраняющим даже в массовых изделиях тонкость отделки, чувство материала, формы, цвета, и качеством того труда, который связан с явлениями промышленной цивилизации. Я не берусь судить о технических параметрах китайских изделий, для европейского глаза они выглядят устаревшими, приблизительно так, как мы теперь воспринимаем европейские изделия сороковых-пятидесятых годов. Но на китайской улице, в магазине или в быту сталкиваешься с гораздо меньшим числом квалифицированных промышленных изделий, чем в любой "социалистической" стране. Кое-где бросается в глаза приток японской техники, начавшийся в самое последнее время, но также — частое неумение обращаться с этой техникой. Оно проявляется уже в способе вождения машин или в способе установки разных технических приборов и приспособлений в интерьере и выступает особенно наглядно в строительстве: неровная, как бы небрежная укладка бетона, низкое качество отделочных работ, непритесанность дверей, злоупотребление масляными красками и т.д. Все это резко контрастирует с прекрасными постройками национальной культуры прошлого, с культурой разбивки парков да и с целым рядом предметов традиционного обихода. Здесь трудятся бок о бок две нации: одна, наделенная талантом, тонкостью вкуса и умелостью рук, и другая, не обладающая вполне ни одним из этих качеств.

Но дело не только в этом. Сталкиваясь на улицах китайских городов с густой толпой людей, одетых почти исключительно в синее рабочее, нередко сильно поношенное и не первой свежести платье, и определяя их, как людей физического труда, вы пытаетесь представить себе, сколько времени и усилий нужно еще приложить, чтобы

поднять их до уровня восприятия промышленной цивилизации и умелого обхождения с ее продуктами. Проблема бедности Китая и ее преодоления разрастается в ваших глазах до невероятных размеров. Это дело не двух-трех лет и даже не двух-трех десятилетий, это не просто результат тех или иных недостатков строя или режима; это — проблема всего прошлого страны, его наследства. Рассматривать сегодняшний Китай исключительно через призму действия той или иной идеологии было бы непростительной ошибкой.

Я, однако, хотел бы говорить не о бедности Китая как таковой, а о бедности как о факторе общественного строя, отличающего Китай от СССР и других стран "реального социализма". Побывав в Китае, вы начинаете остро понимать, что его существенное различие от этих стран заключается уже в том, что он еще не прошел периода "ускоренной индустриализации". Более того, Китай в известном смысле еще не вступил в этот период: он предпринял несколько попыток в этом направлении, сорвавшихся именно из-за бедности и незрелости страны (это касается в равной степени как "великого прыжка", так и недавнего резкого разбега "четырёх модернизаций", рассчитанного на увеличенный приток иностранных капиталов и т.п.). По характеру своей внутренней проблематики Китай не столько страна "социалистическая", сколько "развивающаяся". За сходностью внешних оболочек скрывается существенное различие содержаний. Нельзя игнорировать то обстоятельство, что применение "советского опыта" не привело Китай к решению проблематики роста. Это несомненно становится фактором общественной динамики, приводящей в движение всю систему институтов общества. Именно под влиянием китайской бедности, осязаемости объема нерешенных проблем вы понимаете, что то, с чем вы сегодня сталкиваетесь в стране, не несет печати окончательности, склеротического брежневского "статус кво". Здесь еще многое возможно и ничего не исключено.

Все это связано с другой особенностью Китая, которую я в полной мере начал воспринимать только находясь там.

Одной из наиболее выразительных черт современного строя СССР является, как известно, его сопряженность с

милитаризмом и военщиной, его обусловленность положением СССР как одной из двух супердержав. Те же черты советская пропаганда уже в течение ряда лет, и не без известного успеха, пытается приписать общественному строю Китая, говоря не только о китайском милитаризме вообще, но и о китайском стремлении к "гегемонии" (где? в регионе или в мире? на эти вопросы, как правило, не дается ответа).

Мы были первоначально не слишком удивлены, столкнувшись на китайских улицах с обилием военных. Со временем это потребовало, однако, дополнительных разъяснений. Мы спросили, нам ответили: Китайская армия состоит приблизительно из четырех с половиной миллионов человек. Это пропорционально значительно меньше, чем в СССР, но все же непосильно для китайской экономики. Армия была введена в города в период "культурной революции" и с тех пор находится здесь. Существует ряд проектов, как сократить ее численный состав и вывести ее из городов. К сожалению, реализовать их не так легко.

Я не ручаюсь за полную достоверность этих сведений: трудно предположить, что в этой, для любой страны чрезвычайно чувствительной области, наши хозяева сохранили полную откровенность, что они ничего не скрывали, ничего не замалчивали. Но картина была достаточно ясна: эта армия является силой в первую очередь внутри страны. К этому присовокупились личные впечатления. Я уже говорил о том, что на китайской улице не видно ни погонов, ни лампасов. Через короткое время вы вынуждены поставить вопрос: как отличить солдата от офицера? Ответ поразительный: по количеству карманов на кителе (два или четыре). Как, однако, отличить прапорщика от генерала, осталось неизвестным. Это дело физиономическое, дающееся с известными усилиями местным жителям, но не приезжим иностранцам.

Внешний демократизм китайской армии не является, конечно, делом чисто формальным; вместе с ним отпадает множество правил субординации, китайский военный передвигается по улице города гораздо свободнее и цивилизнее, чем любой солдат "стран социализма". За три недели пребывания в стране мы видели вооруженных солдат лишь в

качестве постовых у некоторых объектов. Только раз в Ханьчжоу нам удалось наблюдать вооруженных солдат в строю. Они шли — человек пятьдесят, быть может, сто — по улице, очевидно, с учения. Подавляющая масса солдат, которых мы видели, была занята "гражданскими" делами. Мы сталкивались с ними в качестве прохожих, экскурсантов, но больше всего и чаще всего при исполнении разного рода общественных работ, главным образом строительных.

Конечно, внешний вид и поведение военных на улице не должны еще сами по себе ничего обозначать. Где-то существуют особые части, специальное вооружение, средства массового уничтожения, вроде ракет с ядерными зарядами. Тем не менее я убежден, что и поведение солдат на улицах свидетельствует о многом. Его можно сравнить с поведением остального населения, прикинуть к общей обстановке страны, оценить глазом уровень общей культуры и предположительную способность обходиться с техникой. Я не исключаю, что эта армия по своим навыкам к организованному дисциплинированному действию и по общему уровню культуры превышает уровень массы населения; в конечном счете в таких аграрных странах, как Китай, армия всегда приобщает к культуре, организованности, специальным знаниям; тем не менее ничего не свидетельствовало о том, чтобы ее можно было принципиально отделить от состояния страны в целом.

Из поездки в Китай я вынес убеждение, что он не является милитаристской страной в том смысле, в каком ею является СССР. Это, конечно, не значит, что у Китая нет своих внешнеполитических интересов и что его соседям не приходится вообще ничего опасаться. У Китая нет и долго еще не будет возможности вести глобальную политику, тягаться с такими державами, как СССР или США. Когда руководители современного Китая — эту фразу нам цитировали много раз — заявляют, что Китай не является и не хочет быть "супердержавой", то к этому следует относиться серьезно: это не вопрос доверия, а вопрос обстановки. Существование китайского правительства, существование общественно-политического строя в целом лишь мало зависят от международных процессов, тем более от успехов в

борьбе за мировую гегемонию. Уже одно это обстоятельство кладет резкую грань между сегодняшними общественными системами Китая и СССР.

От своих русских знакомых я слышал: подождите, через пару десятилетий... Это соответствует советской официальной точке зрения, рекомендующей не помогать Китаю в решении его внутренних проблем, в его модернизации и индустриализации. Я не берусь судить, будет ли Китай через 50 или больше лет угрозой для мира. Сама постановка таких вопросов, однако, предполагает, что нам ни сегодня, ни в будущем не надо опасаться СССР, что советская политика, например, оккупация Чехословакии, Афганистана или угрозы Польше, служит делу укрепления мира.

"Культурная революция"

Я не хотел бы, чтобы предшествующие строчки были поняты так, что сегодняшнее состояние Китая, сильное отставание нового строительства и модернизации в целом, следует относить исключительно за счет исторического прошлого и его наследства. Когда мы после приезда, удрученные первыми впечатлениями, спросили, в чем дело, то получили в целом ясный ответ: "Культурная революция. Десять лет почти ничего не строилось, мало производилось. Господствовал хаос. То, что вы видите, построено преимущественно в последние пять лет". И это нам с небольшими отклонениями повторяли, даже без особых вопросов с нашей стороны, по всей трассе нашей поездки.

В Китай мы ехали с представлениями о "культурной революции" как, упрощенно говоря, о китайском варианте сталинщины. Такому представлению способствовала своеобразная комбинация борьбы в верхах с массовыми преследованиями. Однако, сочетание: "культурная революция" это застой и запустение — настораживало. Ведь оправданием сталинщины, ее извращенным пафосом, который долгое время воздействовал на людей, была динамика роста, новое строительство, изменение лица страны. Тожждественна ли действительно "культурная революция" сталинщине, нет ли здесь существенного различия содержаний? Если иметь в виду жертвы, то такие вопросы могут казаться

ся излишними, на деле они, однако, достаточно важны — различие содержания означает также различие последствий, различие выходов, быть может, всего направления дальнейшего развития.

Начинаешь суммировать в голове все то, что тебе известно и что ты вновь узнаешь о "культурной революции". Количество жертв огромно. Когда мы приехали, то услышали из уст официального лица шокирующую, фантастическую цифру: 100 миллионов пострадавших. Пятнадцать лет тому назад это был приблизительно каждый восьмой или девятый житель страны, включая древних стариков и грудных младенцев. Таким цифрам вряд ли можно доверять: кто мог это подсчитать и на базе какого статистического метода? Но сама ситуация была совершенно новой: представьте себе официальное лицо в какой-либо стране "реального социализма", называющее вам количество жертв сталинщины, которое своими размерами вызовет ваше недоверие! Последовал неизбежный вопрос и "уточнение": речь идет не только о "непосредственно пострадавших", но также о пострадавших "косвенно", т.е. о членах семей и других близких родственниках. Дальнейший вопрос о количестве "непосредственно пострадавших" остался сначала без ответа, мы получили его много дней спустя, всего за два часа до отлета. Количество "непосредственно пострадавших" по Китаю определяется приблизительно цифрой в 25 миллионов человек*. Эта цифра получена на основе данных о количестве пострадавших в Шанхае и во Внутренней Монголии. 25 миллионов, конечно, не 100 миллионов, но даже с учетом дальнейших уточнений в сторону снижения существо не изменится: пострадали миллионы.

Если, однако, количество пострадавших где-то сравнимо со сталинщиной, то раздумия вызывает характер репрессий: вам припомнится многое об ужасах китайских

* Согласно обвинительному акту по делу о "банде четырех" ("Пекинское обозрение", 2.12.1980 г.) количество пострадавших по главным "делам" периода "культурной революции" составляло 729 511 человек; погибших — 34 800 человек. Это значительно меньше, чем цифры, которые были приведены нам.

улиц и общественных мест периода "культурной революции", о бесчинствах "красногвардейцев", но удивительно мало о существовании какого-либо специального аппарата истребления людей, сравнимого с ОГПУ-НКВД-КГБ. 25 миллионов пострадавших — это не мертвые и даже не заключенные, хотя их, конечно, множество; здесь также выселенные и изгнанные из городов, "перевоспитывающиеся" в сельскохозяйственных коммунах. В голове застряла фраза одного из собеседников: "Тюрьма была еще ничего, попасть в тюрьму — это часто означало спасение. Самое страшное была улица, толпа".

Кончилась "культурная революция" несколько поиному, чем сталинщина. Правда, также здесь большую роль сыграла смерть символа режима — Мао, в остальном же было много отличного. "Культурная революция" исчерпала себя, она растеряла своих активных сторонников, свою "улицу", на которой она вначале господствовала и которая заменяла ей ОГПУ-НКВД. Нам рассказывали: сначала студенты с энтузиазмом изгоняли "контрреволюционеров" — профессоров, школьники — учителей. Потом студентов и старших школьников также начали превращать в "контрреволюционеров" и отправлять на "перевоспитание" в коммуны. Рабочие сначала приняли превращение инженеров и техников в рабочих у станка. Продукция, однако, упала, производственная организация начала разрушаться, жить стало во всех отношениях труднее. Инженеры вновь возвращались на свои места еще задолго до смерти Мао.

Когда умер Чжоу-Энь-лай, он был символом разумного начала, начались демонстрации на Тянь-ан-мын в Пекине. Они были разогнаны и объявлены "контрреволюционными". Но сам факт был символичен: "улица" выступила против "культурной революции". Это имело место не только в Пекине, но и в других городах, во всяком случае нам рассказывали о демонстрациях в Нанкине. Линия водораздела при этом, очевидно, проходила не между господствующей партией и "остальными" (на Тянь-ан-мын присутствовали также работники центральных учреждений, в Нанкине против "банды четырех" якобы выступал местный актив в целом или почти в целом), а между сторонниками и противниками проводившейся политики.

Из разрозненных сведений постепенно складывается определенная картина. Сегодня мне кажется, что "культурная революция" — это никоим образом не сталинщина, она более близка советскому "военному коммунизму" первых послереволюционных лет: своеобразный, сверху подожженный и вдохновленный бунт широких масс отсталой страны, масс, в своей основе еще нередко "деревенских", против нарождающейся иерархии и социальной и трудовой дисциплины индустриального общества; бунт, который был еще более усилен специфическим характером исторического наследия Китая, бюрократизмом власти, быстро растущей отчужденностью нового верхнего слоя общества от народа. Именно в этой связи становится более понятной приостановка строительства в городах, разрушение основ промышленной организации, изгнание интеллигенции и массы городских жителей из городов в деревню, ожесточенная борьба против "буржуазного", т.е. культурного образа жизни, и многое другое.

Такой характер "культурной революции" не лишен, конечно, своего интереса. "Связь времен" в Китае очевидно не распалась так полно и основательно, как в СССР. Где-то в самом лоне власти не были до конца разрушены прежние связи и привязанности и даже элементы прежней группировки сил. Без этого трудно себе представить, что, например, два раза свергнутый и втоптаный в грязь Ден Сяо-пин не только не погиб, но ожил и поднялся вновь к власти. Дело, однако, не в одном Дене; такое, по всей видимости, происходило по всему Китаю, на разных уровнях власти. Во всяком случае мы на своем пути встречали людей, которые пострадали от "культурной революции", но сумели вернуть себе какие-то позиции. В то же время активные проводники "культурной революции" были преимущественно не у дел.

Такое положение стоит того, чтобы над ним серьезно задуматься. Применительно к СССР оно могло бы, например, обозначать, что после XX съезда КПСС в 1956 году аппараты власти опирались бы не на людей, выдвинувшихся при сталинщине и сделавших на ней свою карьеру, а на людей, пострадавших от нее; оно могло бы означать также то, что в самом центре власти в СССР на первое место выдвиг-

нулся бы не Хрущев, а каким-то чудом уцелевшие в сталинских застенках Рыков, Бухарин или Томский с частью своих сотрудников. Как минимум, произошел бы, конечно, гораздо более резкий и решительный разрыв с прошлым.

Мы ехали в Китай вскоре после того, как закончился процесс против "банды четырех". Наше отрицательное отношение к судопроизводству подобного рода — вне зависимости от политического направления, представленного подсудимыми, — вряд ли требует особых разъяснений. Мы его не скрывали. Тем не менее в Китае мы поняли и другое: китайцы — пусть в крайне уродливой и неприемлемой форме — сделали то, на что не хватило сил обессиленным сталинщиной русским: они отдали под суд и осудили своих Молотовых, Маленковых и Кагановичей и открыли себе тем самым возможность говорить об ответственности за прошлое местных Брежневых, Косыгиных, Суслых и даже Хрущевых.

Я не хочу, однако, представлять китайское отношение к прошлому в чрезмерно упрощенном виде. Прошедшие годы были наполнены борьбой разных направлений, которая не способствовала — как это видно уже из самого характера процесса над "бандой четырех" — особой разборчивости в средствах и вела в дальнейшем ко многим компромиссам.

В тот период, когда мы были в Китае, за кулисами политической жизни заканчивалась переоценка прошедших лет "социалистического строительства", а также личной роли Мао Цзе-дуна. Повсеместно начинала входить в употребление новая формула: "Мао был не богом, а человеком". Подразумевалось и открыто говорилось: "Людям свойственно ошибаться". Это был, конечно, сильный удар по прежней системе взглядов и представлений. Тем не менее одновременно подчеркивалась и величина заслуг Мао. Внешнее сходство с той системой оценок прошлого, которая была характерна для СССР периода борьбы против "культы личности", казалось несомненным. Я и сейчас не думаю, что это сходство можно отрицать: критика "культурной революции" не может на официальном уровне перейти границу, диктуемую инстинктом самосохранения существующего общественного строя, она не может вылиться

в дискредитацию революции в целом. Это, в свою очередь, не может не сказаться на оценках деятельности Мао как ее руководителя. Здесь заключается причина известного противоречия между, с одной стороны, более резким, чем в СССР, разрывом с прошлым, о котором я говорил, и "уравновешенностью" оценок Мао, с другой.

Наличие такого противоречия в китайском подходе к прошлому имеет, однако, один аспект, который отсутствует в СССР и который нельзя игнорировать. Хотя в китайской революции на протяжении долгих десятилетий существуют две силы — Гоминдан и коммунисты — оспаривающие друг у друга право на руководство страной, их национальная роль не была равноценной. Гоминдан, будучи долгие годы правящей партией, так и не сумел справиться с положением в стране, а потому был вынужден уступить свое место коммунистам. Только победа коммунистов в 1949 г. положила конец гражданской войне, раздробленности и иностранному вмешательству. Будущий историк посчитает, очевидно, также разрыв китайских коммунистов с СССР лишь последним актом национальной революции — изгнанием из Китая последней империалистической державы, посягавшей на его равноправие и самостоятельность. Та или иная оценка китайской революции и ее деятелей не может поэтому отталкиваться только от узких партийных точек зрения, тем более точек зрения групповых, она должна приспосабливаться к сохранению национального авторитета революции. Руководители современного Китая не могут не понимать этого, их политика является политикой представительства и защиты национальных интересов.

Перемены и настроения

Я начал с того, что политический актив современного Китая понимает связь между "культурной революцией" и недостаточностью результатов строительства. В действительности понимание этой проблематики заходит гораздо глубже: критические оценки распространяются на политику "великого прыжка", предшествовавшую "культурной революции", на некоторые аспекты строительства сельско-

хозяйственных коммун, затрагивают область политической системы, принципы ее организации, создавшие условия для того, чтобы личный и групповой произвол стал методом управления страной. Все это, конечно, выходит за рамки простого отношения к прошлому, затрагивая основы положительных представлений у самих властей.

За границей, особенно в странах советского блока, официальная идеология современного Китая связывается с понятием "маоизм". В этом понятии, однако — в советском блоке нельзя исключить прямой умысел — теряется то обстоятельство, что марксистской базой для маоизма послужил сталинизм. Понять это не трудно. В отличие, например, от европейских стран, в Китае ему не предшествовало никакой собственной традиции социалистического мышления или движения. Свой марксизм Китай получил из России как следствие того большого отклика, который здесь имела Октябрьская революция 1917 года. Тем не менее было бы ошибочным связывать этот марксизм непосредственно с ленинизмом. КПК возникла лишь в конце ленинского периода истории коммунизма и, не успев еще широко воспринять его первоначальное содержание, попала в центр фракционных боев в ВКП (б) и Коминтерне. Это не только значительно сузило идейную основу китайского коммунизма, но и поставило ее в жесткие рамки принудительной регламентации. Узость идейной основы сохранилась и впоследствии, несмотря на то, что КПК по ряду вопросов разошлась с мнениями Сталина и выработала ряд собственных оригинальных позиций, собственную концепцию политики.

Степень зависимости КПК от сталинизма проявилась в полную силу в тот момент, когда она после смерти Сталина потерпела политическое крушение. Это было одной из причин последовавшего разрыва КПК с Хрущевым, в котором известную роль, очевидно, играли также претензии Мао на сталинское наследство. В результате этого идеология КПК не прошла даже того весьма ограниченного периода нововведений, который был характерен для советского коммунизма. Разрыв "теории и практики" выростал здесь неизбежно до катастрофических размеров.

Уже вскоре после приезда нам пришлось услышать

тяжелый вздох одного из наших "ответственных" собеседников: "В наших руках не осталось ничего, чем мы могли бы руководствоваться. Весь "советский опыт" оказался для нас непригодным". Это, конечно, не было только фактом индивидуального прозрения. "Культурная революция" окончательно подвела страну к той черте, где игнорировать последствия для Китая сталинской триады — индустриализация, коллективизация, культурная революция — стало невозможным. Возник идейный вакуум, требующий наполнения.

Когда мы ехали в Китай, мы находились под впечатлением тревожных сообщений печати о надвигающемся новом ограничении еще по-настоящему не завоеванных демократических прав, о запрете "стены демократии", о первых процессах против китайских диссидентов. Это наводило на не слишком веселые мысли о настоящем и ближайшем будущем страны.

Я не берусь судить о том, что думают о современном положении в стране простые люди, у нас было очень мало возможностей соприкоснуться с ними. Впрочем, я не думаю, чтобы иностранцы издали, не познакомившись ближе с Китаем, могли правильно представить себе политические симпатии и антипатии этих людей. Для этого было бы необходимо знать конкретное содержание интересов, круг понятий и всю жизненную среду 800-миллионного китайского крестьянства да и существенной части 200-миллионного населения китайских городов. То, что вас, однако, по приезде в Китай поражает — это атмосфера восприимчивости к новым взглядам и информациям, которая резко расходится с представлениями, создающимися у иностранца на основе сообщений мировой прессы.

Я никак не хочу утверждать, что эта атмосфера не имеет своих, возможно очень существенных ограничений (когда некоторые из наших собеседников подчеркивали, что они выражают "собственное мнение", то это совсем не означало, что их взгляды отличаются от официальных, а просто то, что они не согласовали свой разговор с нами с вышестоящим "начальством"), но они не кажутся мне определяющими.

Эта атмосфера проявляется иногда уже в мелочах, на-

пример, в том, что гораздо больше, чем прежде, цитируется классическая марксистская литература: знания марксизма перешагнули прежние сталинские "нормы". Растет интерес к социалистическим авторам прошлого, которые еще недавно были под запретом. Иногда это приобретает курьезные формы и размеры. Недавно китайские общественные науки, во всяком случае их часть, пережили своего рода "бухаринский бум": Китай открыл для себя Бухарина. Повод был относительно случайным: конференция о Бухарине, организованная в 1980 г. итальянскими коммунистами, на которой присутствовал также представитель китайской Академии общественных наук. Материалы этой конференции были в Китае переведены; затем последовал перевод на китайский язык дальнейшей литературы, вплоть до подготавливаемого теперь издания сочинений Н.И. Бухарина. Мы столкнулись также и с первыми робкими вопросами по другой, прежде не менее, чем в России, запретной теме: о Троцком.

Но если в Китае сегодня заметно оживление интереса к социалистической литературе прошлого, то тем более это, конечно, относится к разным оттенкам социалистической и коммунистической мысли современности. Мы столкнулись здесь, я уже упоминал об этом, с живым интересом не только к событиям и программам Пражской весны и чехословацкой оппозиции (характерно в этом отношении то, что в период нашего пребывания в Китае здесь был с циклом лекций на экономические темы также О. Шик), но и к новейшим событиям в Польше. Можно было предполагать возросшую информированность о еврокоммунизме, с представителями которого китайские коммунисты поддерживают более или менее нормальные связи. Нельзя недооценивать возросшие международные контакты Китая. Ряд из них — например, посещения представителей Югославии, разных деятелей Социалистического интернационала, как и деятелей некоторых развивающихся стран, — несомненно связан с существенным потоком идейной информации, которая, надо полагать, оседает не только в узком кругу ведущих политиков.

Все это каким-то образом переливается в повседневную жизнь. Я не могу судить о содержании китайских га-

зет, но телевизионные известия, которые мы раз или два видели, были решительно богаче и разностороннее тех, что нам помнились по странам советского блока. По ряду замечаний, как и из ответов на наши вопросы, можно было судить о возросших контактах с границей. В Китай приезжают иностранные ученые, китайские ученые ездят за границу в командировки или на стажировку. В страну поступает иностранная научная литература, китайские работы переводятся на другие языки. Во всем этом еще много случайного и несистематического, но важен сам факт. На экранах китайских кинотеатров стали обычными иностранные фильмы. В Шанхае мы видели не только афиши, но и очереди за билетами. Конечно, существует выбор как фильмов, так и стран, где они предпочтительно приобретаются. Большой процент приходится на фильмы развивающихся стран. Меняется и характер китайских фильмов. За два-три года они далеко ушли от образцов периода "культурной революции". Героичность темы начинает оборачиваться привычным приключенческим жанром, на экране демонстрируются обычные гражданские чувства и переживания, цивильная обстановка жизни вплоть до тех ее элементов, которые прежде подводились под понятие буржуазного образа жизни (танцы, вечеринки, жизненный комфорт и т.д.).

Эти факты, сколь симптоматичны бы они ни были, являются все же периферийными. Решающей областью, из которой, как мне кажется, сегодня исходят импульсы идейного обновления, служит область практической работы, особенно работы хозяйственной. Китайское руководство решилось здесь, по-моему, на действительно революционный шаг: оно освободило эту область (до какой степени, трудно сказать) от давящего действия догмы. Даже новое понятие "модернизация", применяемое вместо прежних "индустриализация", "коллективизация", "культурная революция", имеет при всей своей неопределенности одну несомненную выгоду: с ним не связано никаких привычных идейных шаблонов прошлого.

Характер сегодняшних решений во многом напоминает СССР середины 20-х годов. Центр внимания вновь сильно сдвинулся в сторону деревни. Одной из первых фраз, которую мы слышали в Китае, была фраза о том, что из

миллиарда населения крестьяне составляют 800 миллионов и поэтому проблемы деревни, ее благосостояние являются решающими. Это нам повторяли много раз. По ассоциации это вызвало у меня воспоминание о сходной фразе, произнесенной в СССР почти шестьдесят лет тому назад: "Крестьянский труд и крестьянская работа определяют у нас все. Из населения в 130 миллионов – крестьян 100 миллионов. Необходимо, чтобы крестьяне стали более богатыми, чтобы у них нужды не было..." (Рыков, 1924 г.)

Дело, однако, не только в повороте в сторону деревни. Сходной является атмосфера поворота от коммунизма крайностей к более трезвому пониманию экономической и социальной жизни. Тот, кто сохранил прежние представления о китайских коммунах как совершенных образцах "казарменного социализма", тот не узнает коммун сегодняшних. Они превращаются или уже превратились в производственные кооперативы артельного типа. Полного единства организации здесь, очевидно, нет. Коммуны нередко объединяют много тысяч человек, занимающихся не только разными отраслями сельского хозяйства, но и ремесла или промышленности (мастерские или предприятия в собственности коммуны). Существуют разнообразные формы оплаты труда, "приусадебные" производства и т.д. После выполнения обязанностей по отношению к государству коммуна свободно располагает приблизительно 60 процентами произведенного.

На заводах кое в чем сходная картина. С одной стороны, сильные следы прежней уравнительности, даже патрархальности. Зарплата в 40-50 юаней (юань номинально 1,20 западно-герм. марки и около 2,50 фр. франка, по покупательной же способности значительно выше) для рабочих, до 70 юаней для инженерно-технического персонала и до 110-120 юаней для директоров предприятий (во всяком случае средних), как и для высшего инженерного состава. Вопросы о порядке увольнения рабочих с заводов и о роли профсоюзов при этом вызывают известное недоумение. В Шанхае на машиностроительном заводе нам рассказали историю о рабочем, прогулявшем в общей сложности около полугода, но все же оставленном на поруки коллектива и обещавшем "исправиться". По нашему ощущению, это ис-

тория, которая не была выдумана специально для успокоения иностранных туристов. Наряду со всем этим чувствуется воздействие некоторых принципов рыночной экономики. Оно переходит и в сферу внешней торговли. Заводы не только имеют свободу реализации существенной части продукции, но могут — пока опытно для некоторых предприятий — торговать с иностранными партнерами, минуя организации Внешторга. Это означает отход от принципа монополии внешней торговли, положительные или отрицательные последствия которого пока вряд ли поддаются учету.

Я не собираюсь, однако, подробно расписывать картину "китайского НЭПа". По беглому взгляду со стороны трудно судить, как далеко он заходит, в каких конкретно формах действует и в каких подробностях экономической и социальной жизни проявляется. Поток впечатлений и информации, который на вас обрушивается в Китае, исключительно велик и разносторонен. Вопросы, которые можно и нужно было поставить, возникают нередко лишь дополнительно. Тем не менее мне кажется, что известная нечеткость представлений о функционировании механизма китайской экономики не является лишь продуктом нашего неполного восприятия. Я говорил, что хозяйственная жизнь была освобождена от связующего действия догмы. Революционность этого шага заключается, по моему мнению, в том, что китайское руководство прибегло к нему, не имея в замену никакого достаточно всеобъемлющего положительного решения. Оно отказалось от догмы в пользу импровизации и эксперимента. Это, конечно, было связано с риском и с целым рядом потрясений, о чем в достаточной степени свидетельствуют как все еще далеко не устоявшиеся представления о целях и возможностях экономического развития, так и, например, недавний пересмотр уже заключенных международных соглашений, приведший к серьезным дополнительным материальным потерям, а также и к падению престижа. У китайского руководства, однако, вряд ли была другая возможность. "Культурная революция" означала не только господство догмы, но и полный застой экономической мысли. Предпосылок

для быстрой выработки системы обоснованных решений очевидно не существовало.

Я не думаю, что Китай уже оставил позади фазу импровизации. Современный акцент на роли сельского хозяйства только подчеркивает — в этом Китай также повторяет опыт СССР 20-х годов — недостаточность общих хозяйственных решений, прежде всего решений для промышленности. Импровизация, поиск, эксперимент в хозяйственной и социальной области будут, по моему мнению, еще в течение продолжительного времени сказываться на общей атмосфере идейной жизни, восприимчивости к новым взглядам и информации, в отказе от ряда устоявшихся представлений, усвоении общественными науками основ научной методологии. Я тем не менее не хотел бы переоценивать ни значения, ни размеров этого состояния мысли. Поиск и эксперимент, возможность общественного обновления ограничены несомненно лишь относительно узким слоем общества, партийным активом и партийной интеллигенцией, причем преимущественно их верхами. Пересмотр отдельных взглядов, внедрение идейных новшеств там, где они выходят за узкие рамки академической науки, несомненно обусловлены решениями тех или иных органов. В настоящее время общий курс китайского руководства создаст условия расширения поиска и эксперимента, он ориентируется на достаточно широкое использование знаний и опыта актива. Нет, однако, никакого сомнения в том, что при известном повороте в политике вся эта выросшая субкультура может быстро увянуть.

Отношение к СССР

Я уже говорил о том, что будущий историк очевидно посчитает разрыв между Китаем и СССР лишь последним актом китайской национальной революции, изгнанием из Китая последней империалистической державы. Я употребляю такие выражения вполне сознательно. С первого момента вашего пребывания в Китае вы вынуждены констатировать, что представление об империалистической сущности советской политики среди политически думающих людей Китая чрезвычайно сильно. Это не является проблемой,

о которой бы все еще дискутировали. Проблемой остается лишь то, как примирить это представление с сохраняющейся положительной оценкой Октябрьской революции и прошлых этапов развития СССР. Именно поэтому ведутся разговоры о социал-империализме и о его социальном содержании.

Среди иностранной общественности долгое время держалось мнение, что разногласия между СССР и Китаем, а также вспыхнувшая здесь вражда, имеют прежде всего идейную подоплеку. Сегодня я уверен в этом еще меньше, чем прежде. После всего того, что я слышал в Китае, мне кажется правдой обратное: идеология, симулировавшая общность целей СССР и Китая, долгое время тормозила углубление разрыва, была фактором, преуменьшавшим значение противоречий, закрывавшим и маскировавшим фактическое неравноправие Китая по отношению к СССР. Происходящая теперь в Китае переоценка идейных ценностей не улучшит репутации СССР; она дополнительно поставит под вопрос ряд моментов советского прошлого. Вряд ли улучшит положение и будущий китайский Солженицын, если он появится. Россия будет в его глазах (заметим, что не без основания) родиной и рассадником современного коммунизма, источником ЗЛА, испортившего добрые китайские нравы.

Список претензий, который Китай может предложить своему северному соседу, чрезвычайно велик и никак не мелочен. Его не ограничить 1917 годом. СССР уже перенял далеко не благоприятное прошлое. В этом легко убедиться, заглянув, например, в пространные и выразительно написанные воспоминания С. Витте. В этой связи мне врезался в память следующий эпизод. Когда в Европу когда-то, в середине 90-х годов, в первый раз приехал премьер-министр императорского Китая, Россия приложила максимальные усилия, чтобы он посетил Петербург раньше других столиц. Это удалось. Был подписан договор о дружбе между Россией и Китаем. Спустя несколько лет, во время боксерского движения, русские отряды ворвались в столицу дружественного Китая, вынудив бежать императора и правительство. Императорские дворцы были разграблены, а в Петербург в качестве "трофея" был привезен китайский экзем-

пляр русско-китайского договора о дружбе... Витте долгие ночи ломал себе голову над тем, как вернуть китайскому правительству этот "трофей", чтобы оно считало договор еще действующим.

Но дело не в прошлом. Историческая память руководителей современного Китая не идет так далеко; она не удержала даже многих аспектов советского вмешательства в китайские дела, в том числе и в дела китайских коммунистов. Перечень начинается где-то в конце последней войны советскими грабежами и насилиями над мирным населением Маньчжурии, особенно над женщинами, продолжается сталинскими планами о разделе Китая между Гоминданом и коммунистами по Янцзы. Страна, торжественно аннулировавшая все свои неравноправные договоры с Китаем, не постеснялась затребовать себе обратно в аренду не только КВЖД, но и Порт-Артур, утраченный Россией еще в русско-японскую войну 1905 г. Два десятка лет спустя она будет стрелять в китайцев на спорных, нежилых заливных амурских островах, считая очевидно, что договоры, заключенные некогда Муравьевым-Амурским, были справедливыми (и крылатая фраза: "Мы не наследники русских царей, вы не наследники китайских мандаринов!").

О взаимоотношениях китайцев с окружающими народами можно думать разное, многие события будут иметь различное значение в глазах этих народов и китайцев. Тем не менее можно понять, если китайцы возмущаются по поводу фактической советской аннексии Внешней Монголии, превращенной в советский протекторат (МНР). С горечью вспоминают про корейскую войну 50-х годов, когда Китай по соглашению с СССР (и, кажется, даже по его просьбе) спасал уже совсем разгромленную Северную Корею: "Мы там кровь проливали, а они с нас еще спустя годы деньги за оружие требовали".

Я не хочу перечислять всего: здесь и китайско-индийская война, и сложная проблематика Вьетнама и Индокитая в целом, отзыв советских специалистов, где-то стыдливо потерявшееся упоминание о советском отказе передать Китаю технологию производства ядерного оружия и многое другое. Дело не в частностях и уж, конечно, во всяком случае до определенного времени, не в советском же-

лании оскорбить и оттолкнуть Китай. Империализм советской политики, который привел к разрыву, выразился, в конечном счете, не в каких-то конкретных действиях или захватах (КВЖД и Порт-Артур были возвращены Китаю, Внешняя Монголия сама по себе никогда не была основным яблоком раздора), его основу составляла система советского мышления и поведения в целом: органическая неспособность видеть мир иначе, чем через призму своих эгоистических интересов, неумение уважать интересы своих международных партнеров (если они не подкрепляются силой), как и неумение серьезно считаться с интересами своих друзей; отсюда недоверие и нетерпимость ко всем проявлениям самостоятельной политики, восприятие их как безусловно враждебного фактора, который необходимо не допустить или даже подавить — блокадой, разрывом отношений, прямой военной интервенцией. Такая политика плоха и неприемлема в своей основе, ее не может спасти никакая симулируемая общность идеологий, ни договоренность по отдельным вопросам; она непрерывно, даже сама того не сознавая, провоцирует недоумения и конфликты.

То, что китайцы пришли к оценке СССР как империалистической державы, вполне понятно, это сообразуется со всем опытом их взаимоотношений с этой страной и с действительным характером советской политики в Китае и по отношению к Китаю. То, что не понятно — так это русское отношение к Китаю, не только отношение России официальной, но и неофициальной. Оно полно нервной недоверчивости, опаски и плохо скрытой неприязни, доходящей до разговоров о "желтой опасности". В чем причина? Быть может, китайцы в прошлом ограбили императорские дворцы в Петербурге или в Москве и русские не могут забыть этого? Быть может, китайцы выдвигали когда-либо планы раздела России на Западную и Восточную, по Уралу, имея в виду превратить Восточную Россию в свое вассальное государство? Или, быть может, они заставили русских сдать им в аренду Сибирскую магистраль, а заодно и Владивосток, который затем превратили в военную базу? Конечно, нет.

Действительные причины русских опасений достаточ-

но прозрачны. Китай слишком велик и многолюден, его нельзя "повоевать", оккупировать и подчинить. У него нет сил, чтобы воевать с СССР. Но как быть, если все-таки?.. Опасность "китайского авантюризма" приобретает в русских глазах исключительное значение. Но существует ли она в действительности? Некоторые тезисы Мао в прошлом заставляли верить этому. Но они были не только проявлением "левизны"; за ними стояло желание скрасить свою слабость ("Если нас погибнет столько-то миллионов, то столько-то все же останется"). С тех пор кое-что изменилось. В Пекине, мы могли убедиться в этом, уже не говорят о "неизбежности войны", а лишь о ее "возможности" и о предстоящем обострении международной обстановки в восьмидесятые годы. Выражается определенное недоверие к европейской политике "смягчения напряженности", ее считают выгодной для СССР, но не возражают против усилий по предотвращению войны. О том, что атомная бомба — "бумажный тигр", нет и речи. Особая опасность советской экспансии на данном этапе обусловлена тем, что вторая супердержава — США — все еще не оправилась от последствий вьетнамской войны. Что здесь авантюрного? Быть может, Китай преувеличивает опасность со стороны СССР, но разве у него нет для этого оснований? Ведь, в конечном счете, не китайцы оккупировали Афганистан, да и до зубов вооруженный Вьетнам, обладающий "самой сильной армией Юго-Восточной Азии", лежит не на южной границе СССР, а на южной границе Китая.

Мне кажется, что позиция СССР по отношению к Китаю, разделяемая и частью русской общественности, напоминает позицию человека, обобравшего и ущемившего в правах сильного, но больного соседа. Теперь он видит, что сосед начинает поправляться, и боится возмездия. Самое простое было бы отдать отнятое и договориться (кто бы тогда без нужды стал драться?), но он, подозревая у соседа свои собственные повадки, опасается проявить слабость, да и отдавать ничего не хочется: быть может, сосед и не поправится настолько, чтобы с ним считаться.

Я не принадлежу к числу тех, кому китайско-советский конфликт кажется полезным институтом современности. Не исключено, конечно, что он частично отвлекает

советское внимание от Запада, особенно от Европы, но, с другой стороны, он несомненно является одним из сильных аргументов, укрепляющих позиции милитаризма и военщины в СССР. Имея в виду именно эту сторону дела, я спросил в Пекине у наших китайских собеседников, как они оценивают возможности нормализации советско-китайских отношений. Первой реакцией было недоуменное неудовольствие — вопрос был неприятен, из прессы мы знали, что существует различие мнений и даже какая-то внутренняя борьба — но все же последовал достаточно ясный и определенный ответ: "Мы приняли бы урегулирование, мы приняли бы хоть сколько-нибудь приемлемые условия соглашения. Но разве это возможно? Разве они откажутся от политики окружения и изоляции? Ведь они же считают нас врагами!" Спрашивать было больше нечего.

Перспективы

Мне кажется, что каждый, кто сегодня попадает в Китай и имеет возможность познакомиться с его проблемами, неизбежно задает себе вопрос, в каком направлении развивается эта страна. Это обуславливается уже двумя обстоятельствами, о которых я упоминал: во-первых, тем, что китайский строй, именно потому, что здесь в ближайшее время придется исключительно много строить и перестраивать, еще не отлился в чугунные и незыблемые формы "реального социализма"; во-вторых, тем, что преодоление "культурной революции" здесь привело в движение не только отношения власти, но и прежнюю систему приоритетов и шкалу ценностей. Возникает известная надежда, что Китай, уже вырвавшийся из контекста советского блока, не будет повторять обычного пути существующих "социалистических стран".

На пути в Пекин мы на скорую руку перелистывали последние номера "Пекинского обозрения" — журнала, издаваемого для текущей информации иностранцев. Наше внимание привлекли материалы, которые мы — после обывленного в западной прессе окончания "Пекинской весны" — не ожидали здесь найти: это были решения 3-ей сес-

сии 5-го Народного конгресса, от сентября 1980 г., а также статьи из "Ренмин рибao". Они были посвящены мерам по недопущению концентрации власти, а также злоупотребления ею. Говорилось о необходимости отделения партии от государства, а государства от партии, о необходимости четкого разграничения между ними, о принципиальном и в то же время конкретном решении проблемы выборности, подотчетности и сменяемости должностных лиц, о роли выборных органов и аппаратов и целом ряде других проблем. Подробности я уже не помню, но это был язык, напоминавший язык чехословацкого 1968 года. Ощущение общности языка и родственности предлагаемых решений было настолько велико, что Зд. Млынарж — ему ли этого не знать — даже поинтересовался, в какой степени авторы этих материалов знали соответствующие документы "Пражской весны". Так или иначе, существование этих материалов в какой-то степени воздействовало на восприятие многого из того, что мы видели: элементы атмосферы и конкретных решений, с которыми мы сталкивались, получали свое место в рамках концепции, предусматривающей изменения механизма общественной и политической жизни. Поиск и эксперимент приобретали не только чисто практическое значение.

Сегодня многое из первоначального восприятия китайской действительности уже ушло, а вместе с тем колебалась уверенность в значимости виденного. Проступает неизбежный скепсис. Это еще более углубляется тем, что не ясно, по каким вообще критериям можно и должно оценивать положительность развития китайского общества, поскольку оно при сегодняшнем своем состоянии вряд ли может воспроизводить привычные для нас европейские или вообще "западные" образцы.

Я не считаю, что сегодняшнее господство коммунистической партии должно препятствовать решению проблем. Коммунизм, конечно, не является воплощением добродетелей человечества, но его гнилость и отталкивающая застойность на его родине, в СССР, а также в странах советского блока, не может служить обязательным аргументом против его положительных возможностей в иной среде и обстановке. То, что в Китае будет препятствовать внедре-

нию демократических и гуманистических институтов, относится к явлениям иного порядка.

Прежде всего приходится учитывать бедность общества, которая не только не дает больших возможностей устранить нищету, но даже не гарантирует широкие слои населения от возможности голода. Это уже сегодня порождает исключительные социальные трудности, прорывающиеся в стихийных массовых протестах; сведения о них проникают даже в иностранную прессу.

Я упомянул о том, что Китай еще не прошел свой период "ускоренной индустриализации". Избежать его он вряд ли может. Ориентация на подъем деревни, об этом с достаточной наглядностью свидетельствует опыт СССР 20-х годов, приведет к быстрому росту спроса на промышленные изделия, без наличия которых подъем производства утратит вскоре для крестьян свое значение. Уже теперь быстро нарастает число безработных в городах; они могут найти себе применение лишь в растущей промышленности. Фактором исключительного значения со многими неизвестными становится резкое омоложение китайского общества, о котором я уже упоминал и которое, вне всякого сомнения, будет иметь сильное влияние на изменение структуры. При этом уже не приходится говорить о целом ряде потребностей, вызываемых экономическим и техническим развитием в окружающем мире, в том числе и потребностей военных.

События последнего времени с достаточной наглядностью показали, что Китай пока движется в пределах неразрешенной квадратуры круга: с одной стороны, необходимость, настойчивая необходимость, быстрого подъема промышленности и транспорта, с другой, отсутствие средств для такого подъема. Ситуация исторически достаточно знакомая: в СССР она была одним из решающих факторов, которые способствовали победе и оформлению сталинизма.

Я не хочу, тем самым, утверждать, что развитие в сторону сталинизма в Китае неизбежно. Китай имеет гораздо большие возможности получить иностранную помощь, иностранные займы и кредиты, чем имел в свое время СССР. Поскольку он не ставит себе целей превращения в супер-

державу, напор военного бюджета здесь может быть меньше. Нельзя недооценивать наличие собственного страшного опыта "культурной революции", как и "опыта СССР", которые будут удерживать от многого. Тем не менее, приходится констатировать: Китай еще далеко не справился с теми проблемами, которые в СССР привели к сталинщине, а затем перелились в "реальный социализм".

Китай — крестьянская страна. Вовлечение его 800-миллионного крестьянского населения (с учетом положительного уровня знаний и представлений об окружающем мире) в процесс создания и оформления общегосударственной политики было бы далеко не беспроблемным фактором политической системы страны. Планы демократизации политической жизни, разрабатываемые сегодня в Китае, имеют поэтому лишь ограниченную сферу реального приложения. Остатки мандаринских привычек у верхнего общественного слоя вряд ли можно не заметить: они переходят даже в стиль одежды. Централизация власти здесь все еще заменяет недостаток других связей и коммуникаций в обществе.

Перспективы положительного развития, открывающиеся сегодня в Китае, кажутся мне ограниченными. Реализовать их будет нелегко. Многое будет зависеть от международной обстановки и от того понимания проблем Китая, которое проявит окружающий мир. Китай еще ожидают большие потрясения и немалые жертвы. И тем не менее, это страна, вызывающая, по многим обстоятельствам своего настоящего и прошлого, — симпатии. Мне хочется пожелать Китаю хорошей погоды и доброго плавания.

СБЫВШЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО

Пасквиль

Я знаю, что сижу в односторонности, но не хочу выходить из нее и жалею и болею о тех, кто не сидит в ней...

В. Г. Белинский

100 лет назад был написан роман, быть может, удивительнейший в русской литературе. Роман был замыслен как памфлет против русского нигилизма. Его автор хотел изобличить, заклеить, смешать с грязью идеи и практику молодой революционной России, оторвавшейся, как ему, автору, казалось, от родной почвы, безжалостно отринувшей родных богов и пошедшей на выучку к европейским социалистам.

Вышел не то что памфлет, а форменный пасквиль. Даже нечаевцы на деле не были так отвратительны, такие махровые мерзавцы, какими выставлены в романе Петр Верховенский и некоторые из его приспешников. А ведь нечаевцы отнюдь не были характерны для русского освободительного движения вообще и для 60-х годов в особенности. Боже мой, революционер-шестидесятник — рыцарь без страха и упрека, Чернышевский, Добролюбов, Писарев! Мышкин, пытавшийся организовать побег Чернышевского из Сибири — вот фигура русского революционера 60-х годов. Герцен, гремевший "с того берега"!

Прислано из России.

Можно было бы сказать, что автор "Бесов" — вероотступник, ренегат, ополчился против собственных "заблуждений молодости". Но для таких утверждений нет оснований. "Социализм слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того", — эти слова идиотки-губернаторши дискредитируют "великую мысль" уже по одному тому, что их произнесли ее глупые уста. Но последовавшая в ответ реплика Степана Трофимовича, несомненно, звучит серьезно, и горечь ее — горечь автора. "Мысль великая, но исповедующие не всегда великаны". "Не всегда", но, кажется, прочтя "Бесов", скорей выведешь: "всегда не", и, стало быть, все-таки пасквиль. Пасквиль, разумеется. Однако пасквиль особого рода. Пасквиль-пророчество.

Достоевский готов был сознательно пожертвовать художественной стороной, когда работал над "Бесами". До такой степени поглотила его идея, "съела идея" (как Кириллова в "Бесах"). И он, художник, романист, весьма высоко ставивший свои творческие достижения, не постеснялся признаться в этом постороннему человеку: "Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь" (из письма Н.Н. Страхову от 5 апреля 1870 г.). Кажется, что тут не просто "пропадай моя телега, все четыре колеса", но и некоторый вызов, похвальба почти что. "Я знаю, что сижу в односторонности, но не хочу выходить из нее..." Очень похоже.

Достоевский чувствовал большое удовлетворение, создавая "Бесов". Он видел, что тенденциозность переклещивает у него через край, что не могло, конечно, не сказаться на художественности. Он чувствовал, что впадает в чудовищные преувеличения при обрисовке действующих лиц, и как психолог аттестовал это — "погибла художественность". Все же что-то, помимо "художественности", но столь же значительное "в высшем смысле" заключалось в его романе, и это что-то, как и прежде, приносило радость и подсказывало, что он снова победил. Достоевский не ошибся.

Типическое — не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью

выражает сущность данной социальной силы. Как мы смеялись над этой формулой, а между тем в ней много верного. То, что сделал Достоевский в "Бесах", не было ли выявлением глубинной, спрятанной, никому еще не ясной сущности движения, в котором в 60-е годы прошлого века честные люди встречались неизмеримо чаще "бесов"? Не содержали ли выведенные Достоевским монстры большую правду о явлении, чем голубые герои "Что делать?" Чернышевского?

Была ли нечаевщина только накипью, язвой на здоровом теле русской революции? Не выросла ли она органически как продукт некоторых, весьма важных тенденций, определявших ход вещей в революционном лагере? Не оказались ли эти — "бесовские" тенденции в конечном счете душой всего дела? И не отсюда ли берет свое начало то страшное, что довелось пережить нескольким поколениям революционеров (и русских и многих иных) в последующие 100 лет? Сегодняшний вдумчивый читатель "Бесов" не может пройти мимо всех этих вопросов, как не может не задуматься над роковой повторяемостью "дел", подобных нечаевскому, — со всей их кровавой мутью, уголовщиной и аморализмом.

То, что современники Достоевского третировали как карикатуру, до неузнаваемости искажившую подлинные черты революционеров, то нам, потомкам, представляется рентгеновским снимком.

Система

Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе.

Шигалев ("Бесы").

Фигура Шигалева обрисована с некоторой, быть может невольной, симпатией. Даже "длинноухость" его воспринимается как черта скорее юмористическая, — не то что "довольно сытенское брюшко" Кармазинова. Если вдуматься, Шигалев как человек не так уж плох, много лучше Петра Верховенского, Липутина, Лямшина. Подкупает в

нем научная добросовестность, примером которой является его публичное признание: "Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу". Когда человек запутывается в собственных данных, в этом не всегда виноваты данные. "Прибавлю, однакож, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого". Сопоставляя эту фразу с предыдущей, нетрудно увидеть, что Шигалев, как и подобает мыслителю, не склонен собственную несостоятельность приписывать учению, приверженцем которого он является. Он далек от самолюбования: доискаться истины для него важнее, чем поддержать свой научный авторитет.

Не следует также забывать, что Шигалев единственный из всех "наших" отказался участвовать в убийстве Шатова, не побоялся перед лицом смертельной опасности громко объявить об этом и покинул место происшествия без малейших колебаний и без страха: "не спеша и не прибавляя шагу, окончательно направился домой через темный парк".

"Обдумав дело, я решил, что замышляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, которое могло бы быть употреблено более существенным и ближайшим образом, но сверх того представляет собою то пагубное отклонение от нормальной дороги, которое всегда наиболее вредило делу и на десятки лет отклоняло успехи его, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических, вместо чистых социалистов". Это брошено в лицо политикану с замашками фюрера и притом в обстоятельствах, когда он очень в состоянии спустить курок.

Словом, как человек Шигалев достоин нашего уважения. Тем ужаснее представляется Достоевскому система взглядов Шигалева, что в ней отсутствует элемент личной заинтересованности, личной корысти, что о переделке в стадо девяти десятых человечества трактует человек сам по себе незлой и по-своему благородный. Сам Шигалев искренне сокрушается, что, "выходя из безграничной свободы, он заключает безграничным деспотизмом". Он к этому вовсе не стремился, теория его к этому привела, ему это не

нравится, но он не может идти наперекор логике научного мышления.

Достоевский отнюдь не склонен насмеяться над терзаниями Шигалева, как это делают Лямшин и Офицер, издевательски предложивший "вотировать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела". Автор здесь скорее на стороне хромого учителя, отдающего должное уму и знаниям Шигалева и логичности предлагаемых им мер, "основанных на естественных данных".

Комизм эпизода у "наших" более всего проистекает из вопиющего несоответствия между мрачной убежденностью Шигалева в неотвратимости предсказываемых им событий, отчего он сам приходит в отчаяние, и дурацким легкомыслием его слушателей, не способных заглянуть дальше собственного носа.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Достоевский очень опасался, что последним будет-таки Шигалев со своей шигалевщиной, именно благодаря ее логичности и соответствию естественным данным. Впрочем, Шигалев был бы действительно последним, кто стал бы ликовать по случаю воцарения шигалевщины. Образом Шигалева Достоевский как раз хочет сказать, что человек — это одно, а его убеждения — совсем другое, и если человек действует в соответствии со своими опасными убеждениями, то его деятельность не перестает быть вредной оттого, что сам человек — добрый малый.

Имелись ли у Достоевского серьезные основания считать шигалевщину научным прогнозом будущего социального устройства — это вопрос, с нашей сегодняшней точки зрения, второстепенный. Ибо мы-то знаем: Достоевский не ошибся, предвидя, что рано или поздно Россия придет к системе Шигалева. Важно, что автор "Бесов" сумел предрешишь "даже самые мелкие, так сказать кухонные подробности в будущем социальном устройстве". Как это ему удалось — загадка гения, сознающего, что он "сидит в односторонности" — но выходить из нее не желающего...

Заслуга Шигалева (то есть Достоевского) тем значительнее, что он предвозвестил не одну, а разные формы будущего "земного рая". Элементы шигалевщины в разных

сочетаниях находим в гитлеровской Германии, сталинском Советском Союзе, маоцзедуновском Китае.

Рассмотрим основные принципы шигалевщины и то, как они воплощаются в сегодняшних Тоталитариях.

1. "Каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом". Вспомните стихи Брехта: "Идут прелестные детки, что служат в контрразведке. Доносит каждый юнец, о чем болтают и мама и папа, и вот уже мама и папа — в гестапо, и маме и папе конец" ("Страх и отчаяние в Третьей империи"). Вспомните историю Павлика Морозова, ставшую составной частью официального катехизиса советских пионеров. Вспомните милую практику китайских студентов, доносивших на своих профессоров-"реви-зионистов".

2. "Каждый принадлежит всем, а все каждому". Не правда ли, как это напоминает наши лозунги: "Один за всех, и все за одного"; "Кто не с нами, тот против нас", которые служили оправданием при расправах с инакомыслящими. В качестве гарнира в необходимых случаях добавлялось саркастическое присловье: "Что ж, выходит — вся рота шагает не в ногу, один ты в ногу?" Никто не имеет права шагать куда ему вздумается, все должны маршировать в направлении, указанном свыше. А если кто-то уклонится или собьется с шага, остальные должны ему "помочь", даже вопреки его собственной воле. По существу, это заповедь круговой поруки, при которой каждый отвечает не только за свои собственные поступки, но и за лояльность всех близких, друзей, подчиненных. Конечно, согласно конституции каждый волен поступать так, как считает нужным. Однако на практике мы то и дело скатываемся к соглашательству — уже и одного того ради, чтобы кого-то не подвести.

3. "В крайних случаях клевета и убийство". Ну, этого добра мы столько перевидали на своем веку, что не стоит и примеры приводить.

4. Но "главное — равенство". "Все рабы и в рабстве равны... Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство". Век спустя Владимир Дудинцев напишет в своем известном романе "Не хлебом единым": "Сидит перед тобой русский человек

и грозит тебе великой опасностью — тем, что ты можешь стать в своей стране гением. Нельзя, нельзя быть рекой, можно быть только каплей” (1).

Зачем понадобится тушить гения в младенчестве? А затем, что ”высшие способности... всегда развращали более, чем приносили пользы”. Высшие способности развращают — порождают недовольство существующими порядками, что-то ищут, повсюду сеют семена сомнений. Во избежание этого умственного разврата ”их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина!” Как тут снова не вспомнить Брехта: ”Профессоры маршируют, их лоботрясы муштруют и жучат, отставкой грозя. Зачем для безусых отребий знать о земле и о небе, когда им думать нельзя?” (”Страх и отчаяние в Третьей империи”). О изгнанный, а затем павший от руки наемного убийцы Лев Троцкий: твоей виной был длинный язык. О, Николай Вавилов, зачем Бог дал тебе слишком зоркие глаза? Ты преуспел бы в науке больше, если бы умел закрывать их на многое. О, Булгаков, Пастернак и Солженицын, вас побили камнями за ”высшие способности” и за то, что своим творчеством вы пробуждали в рабах ”скуку”, а уж этого ни один достойный правитель допустить не может.

5. ”Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы умерим желание...” В этой части указания Шигалева досконально учтены и претворены на практике современными китайцами. Но и Сталин оказался тут на высоте. Он сделал образование (в том числе высшее) общедоступным, как проезжий шлях, но — в полном соответствии с мудрыми заветами Шигалева — понизил его уровень до такой степени, что ”образованные” люди оказывались сплошь и рядом еще более послушными, чем необразованные. Этот парадокс удивил Неру, когда он впервые познакомился с Советским Союзом; он привык, что образование порождает в человеке стремление к свободе, а не подавляет его; но он не учел ”пустяка” — уровень образования здесь совсем не тот.

6. И, наконец, знаменитая ”судорога”, которую власти пускают раз в тридцать лет, когда у рабов появля-

ются первые признаки "скуки", — "и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты". Единственное, в чем ошибся Шигалев, так это в сроках. Сталин пускал судорогу раз в десять лет.

Замечательно, что Шигалев ни слова не говорит о путях развития, которые могут привести к прогнозируемому им "разрешению общественной формулы". Коль скоро из всех прогнозов осуществим лишь его, шигалевский, стало быть, предопределен и путь, по которому человечество устремится к своему "светлому будущему". Что же это за столбовая дорога? Тут встает вопрос о методах и типах революционного лагеря, вопрос уже не научный, а нравственный и психологический.

Методы

Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести.

Кармазинов ("Бесы").

Шигалев дал картину будущего, которое революционеры готовили для России. "Великий писатель" Кармазинов объяснил, почему шигалевское будущее является для России неизбежностью.

Кажется, Энгельсу приписывают утверждение, что с конца XIX века центр мирового революционного движения переместился в Россию. Не кто иной как Ленин в 1917 году выдвинул идею о неравномерности развития и возможности победы социалистической революции в стране, оказавшейся наиболее слабым звеном в цепи капиталистических государств (то есть опять же в России).

И все это было только зады. И чьи — "великого писателя" Кармазинова, фанфарона и пошляка, пытающегося подольститься к "русской молодежи", то есть к Петру Верховенскому и его сателлитам! Почти за 50 лет до Ленина прорек Кармазинов: "Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпора".

Ленин объяснял все экономическими, социальными причинами. Кармазинов — исключительно нравственными. "Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым "правом на бесчестье" его скорей всего увлечь можно". "Право на бесчестье" — вот формула, гениально найденная Достоевским для объяснения сути социализма, и вот причина, почему в России "все что угодно может произойти без малейшего отпора".

Революционеры сочли, разумеется, эту формулу зловещим наветом. Сами по себе такие люди, как Чернышевский и Писарев, были эталоном честности, совестью России той эпохи. Но в их головах родилась теория, которая при всем благородстве своих первоначальных посылок могла реализоваться — и реализовалась, как мы знаем, — в формах самых неблагородных. Роковой шаг состоял в признании примата целесообразности над справедливостью. Критикам "Бесов" из революционного лагеря не хватило пронизательности, чтобы уловить связь между этой теорией и убийством студента Иванова одной из нечаевских пятерок. Но ее хватило Достоевскому. Революционеры, отмежевываясь от действий Нечаева, искренне считали нечаевщину инородным телом в своей среде. Разумеется, ничего общего не было в побуждениях Нечаева и какого-нибудь Желябова. Но в одном пункте они безусловно сходились: оправданы любые меры, включая преступление, осуществление которых приближает революцию. Оправданы еще и потому, что в их цель входит предотвратить худшие преступления властей. Боюсь, что и Желябов подписался бы под следующей тирадой Петра Верховенского: "Кричат: "Сто миллионов голов", — это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов? Заметьте еще, что неизлечимый больной все равно не вылечится, какие бы ни прописывали ему на бумаге рецепты, а, напротив, если промедлить, до того загниет, что и нас заразит, перепортит еще свежие силы..." Но если бы даже кого-нибудь из тогдашних социалистов и шокировали столь откровенные высказывания героев Достоевского, то сегодняшние, воспитанные на "Кратком кур-

се истории ВКП(б)» и «Вопросах ленинизма», прошедшие школу сталинской диалектики («Да, я груб, но я груб с врагами народа...»), привыкшие к таким вещам, как оккупация Чехословакии в 1968 году и решительная поддержка в 70-м таких действий Индии, за какие в 67-м был столь же решительно осужден Израиль, — сегодняшние наши социалисты не увидят в словах Петра Степановича ничего предосудительного. Такова судьба идей, не зависящая от доброй воли тех, кто их выдвинул.

Надо было быть Достоевским, чтобы при самом зарождении социал-прагматизма понять, какое это зло. Надо было быть Достоевским, чтобы узнать в Нечаеве пришельца из будущего. Надо было быть Достоевским, чтобы признать неизбежность этого будущего — по крайней мере, для России.

... Итак, «право на бесчестье». Как уже было сказано, оно лежит в основе той революционной программы, которую провозглашают и которой пытаются следовать (впрочем, каждый на свой лад) социалисты у Достоевского. Первое упоминание о «новейшем принципе всеобщего разрушения для добрых окончательных целей» встречаем в беседе Степана Трофимовича Верховенского с только что приехавшим в Россию Кирилловым и Липутиным, который свел этих двоих. Липутин излагает взгляды Кириллова (2): «Они (т.е. Кириллов) уже больше чем сто миллионов голов требуют, для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира требовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли».

Прибавим, что в этом пункте Алексей Нилыч «пошли» даже дальше, чем некоторые современные «благотели» человечества, например Гитлер, который готов был удовлетвориться 18 миллионами евреев и примерно таким же количеством поляков. Пожалуй, лишь Мао Цзэ-дун переплюнул Кириллова, ибо для него и половина человечества не кажется слишком дорогой ценой за торжество социализма на нашей планете.

Вопрос в том, как может человеческий мозг породить идею о целесообразности (какая бы тут ни подразумевалась цель) братской могилы для ста миллионов. Как вообще решаются люди дискутировать на столь странную тему:

стоит или не стоит лишить жизни себе подобных — одного или многих? Право на бесчестье — это такое настроение умов, для которого характерно "перемещение целей, замещение одной красоты другою": Шекспира — сапогами, Рафаэля — петролеем, человечности — "земным раем". Одно дело — убить человека затем, чтобы завладеть его кошельком. Это — уголовщина чистой воды. Совсем другое — экспроприировать кошелек богача затем, чтобы вложить его содержимое в дело революции, хозяина же кошелька убрать как нежелательного свидетеля. Это — революционная целесообразность. Ну, а "подговорить четырех членов кружка уколошить пятого, под видом того, что тот донесет", дабы "их всех пролитой кровью, как одним узлом, связать" — это что, мошенничество? В устах Николая Ставрогина такой совет звучит откровенным издевательством. Он-то, Ставрогин, не сомневается, что это мошенничество. Но ведь Ставрогин не революционер. Пожалуй, и Петр Верховенский, слишком откровенно аттестующий себя: "Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!", в глубине души признал бы это мошенничеством. Но Сергей Нечаев возмутился бы подобным определением, а Иосиф Сталин сказал бы, что в таком совете есть рациональное зерно. Совсем недавно мы были свидетелями того, как четырех членов "социалистического содружества" подговорили участвовать в расправе над пятым, хотя подговоривший мог бы справиться с этим делом одними своими силами. В наше время право на бесчестье проявляется и в таких формах...

"Новейший принцип всеобщего разрушения для добрых окончательных целей" — альфа и омега всех рассуждений главнокомандующего нигилистами Петра Верховенского. О чем бы он ни вел речь — о методах вербовки сторонников, об организационной структуре революционной партии или о "партийном долге", — везде эта мысль главенствует над всем. "Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство и его нравственность", — Петр Степанович, когда надо, умеет четко формулировать свои мысли, но, как правило, вы и без формулировок понимаете, что разговор всегда ведется об этом и только об этом.

"— О, дайте взрасти поколению! Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьаннее стали! Ах как

жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет”.

Тут, пожалуй, еще и пародия на марксизм. Не приходится разяснять, что Маркс связал все свои надежды с пролетариатом по мотивам несколько иного свойства. Но что же поделаешь, если добрыми намерениями марксистов оказалась вымощена дорога в тот самый ад, который готовили для человечества бесы Достоевского. Маркс и Энгельс были счастливы оттого, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Петр Верховенский злорадствовал фактически по тому же поводу. Снова перед нами судьба идеи, вытащенной на улицу. Но ведь осуществилась-то она именно в этом, “уличном” варианте! В который раз убеждаемся, что пародия Достоевского обнажает более существенные черты явления, чем объект этой пародии.

Или, к примеру, Петр Степанович посвящает Ставрогина в организационные секреты “наших”:

— Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять.

— Что ж, трудно, что ли, идет? Заколodило?

— Идет? Как не надо легче. Я вас посмешу: первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось...” И чуть дальше: “Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и “бесчисленными разветвлениями”. Вы сами раз этим меня корили, а какое тут надувание: центральный комитет — я да вы, а разветвлений будет сколько угодно”.

Еще одно замечательное приспособление революционеров (правда, не ими самими изобретенное) — ложь для добрых окончательных целей. Надувать своих противников — ну, это, кажется, сам бог велел. Надувать массы? Иногда требуется и это (так называемая ложь во спасение). Но разве имеет хоть какой-то смысл надувать своих сторонников? — Нет, — сказал бы Чернышевский. — Ни в коем случае, — сказал бы Маркс. — Без этого не обойтись, — сказал

бы Нечаев и объяснил бы, что в известных случаях правда может нанести большой вред движению, так как вызовет долгие и бесплодные дискуссии по вопросам, требующим немедленного разрешения. И вообще правда — это не то, что есть, а то, что должно быть. Петр Верховенский прекрасно иллюстрирует эту мысль примером с центральным комитетом. Назовемся центральным комитетом — вот и будет центральный комитет, вот и вся правда.

... Какой эпизод гражданской войны был решающим для ее исхода? Оборона Царицына. Почему? Потому, что там был Сталин. Алексей Толстой "внезапно" осознал это, уже написав "Восемнадцатый год". И вот уже пишется повесть "Хлеб" — об этой "правде", и "правда" становится неотразимой...

Впоследствии понятие "правда" стало у нас растяжимым, как хорошая пружина или как рот Фернанделя. Стали говорить о "правде факта" и "правде явления", о "правде события" и "правде века", об "окопной правде" и "всей правде войны" и т.д. и т.п. Одна правда возводилась в ранг божества, другая, хотя и называлась правдой, но ограждалась таким частоколом оговорок, что за ним ее было не видеть. Примерно то же самое происходило в других тоталитарных (социалистических тож) государствах нашего времени — недаром Эптон Синклер писал, что "чернорубашечники превратили ложь в новую науку, новое искусство; это искусство один за другим переняли все фашистские диктаторы, пока в конце концов половина человеческого рода не утратила всякую возможность отличать правду от лжи" ("Между двух миров").

"Ну, и наконец, самая главная сила — цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот "маленький" трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают" (Кто знает, не из этих ли рассуждений Петра Степановича почерпнул заголовок своего лучшего рассказа Даниил Гранин?) Поистине поразительно, что формула "стыд собственного мнения" была выведена в ту пору, когда в революционных партиях вовсе не считалось крамольным иметь собственное мнение, когда борьба мнений была бытом социалистической молодежи, ког-

да, больше того, сомнение и критика были объявлены условием развития передовой мысли, а между тем через каких-нибудь сто лет после "Бесов" и спустя более полувека с момента социалистической революции в России "на всех языках все молчит"! Не мудрено: только начни проповедовать — тут же языка лишись, а то и всей головы (прежде — при Сталине — непременно всей головы, ныне — как правило, только языка). Читатель "Бесов" без труда найдет то место романа, где вождь нигилизма без малейших колебаний упреждает на сей счет своего неосторожного собеседника:

Хромой учитель:

"— В случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во втором, в быстром-то разрешении, посредством ста миллиона голов, мне-то, собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут".

Петр Степанович отвечает с прямотой римлянина:

"— Вам непременно отрежут".

Бедный наивный Белинский, позавидовавший на склоне лет потомкам, которым суждено видеть Россию в 1947 году! Послушал бы он Петра Степановича! Счастливый Белинский, не доживший ни до Петра Степановича (можно не сомневаться, что его голос присоединился бы к хору хулителей романа Достоевского), ни до шигалевщины ("Цицерону отрезается язык"), ни до 1947 года, когда ему непременно отрезали бы язык под улюлюкание всяческих Петров Степановичей и Александров Львовичей!

В фильме Вольфганга Штаудте "Ярмарка", одной из самых глубоких интерпретаций фашистского феномена, местный фюрер произносит фразу, не уступающую в точности кармазиновскому "праву на бесчестье" и "стыду собственного мнения" Петра Верховенского. "Партия должна быть всюду", — так и сдается, что эти четыре слова по чистой случайности не слетели с языка нашего гения "вечно готовых слов" — ну хоть в том эпизоде, когда он напал поражает своих приспешников, в том числе выдавшего ви-

ды Липутина, осведомленностью в их личных секретах и разного рода интимностях:

— Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо, как могли вы узнать? — сообразил вдруг Толкаченко.

— Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин? А я знаю, например, что вы четвертого дня исщипали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать.

Липутин разинул рот и побледнел”.

Партия должна быть всюду. Наш сегодняшний быт — это подслушивающие устройства в телефонах, микрофончики, вмонтированные в стены и настольные лампы, обширные досье на каждого гражданина, хранящиеся за обитыми дерматином дверьми, стукачи на работе, партийные ”члены”, разными способами залезающие нам в душу, да мало ли еще что. И вдруг в один прекрасный день — обыск. И вдруг вы на скамье подсудимых: вас судят не за преступные действия, которых вы не совершали, а за преступные замыслы, которыми вы делились лишь с самыми близкими друзьями... Партия должна быть всюду.

Патологическая подозрительность, недоверие даже к своим ближайшим единомышленникам — черта, характерная для руководителей любых организаций, ставящих своей целью установить ”земной рай” через безоговорочное послушание и шигалевское ”равенство”. В книге современного американского философа Берроуза Данэма ”Герои и еретики” замечено: ”Любовь к организации, как мы это наблюдаем у руководителей, имеет особое свойство: чем больше любят организацию в целом, тем больше недостатков усматривают в каждом из ее членов в отдельности”. Иначе говоря, руководители любят в организации воплощение собственного ”я”, а рядовым членам отводят роль ”материала”, который надо ”организовать”, оболванив одних, запугав других, всех одинаково презируя и ожидая от каждого в любой момент пакости. Самым тяжким преступлением почитается выход из организации вследствие идейных расхождений или угрозы выхода. Тут видят двойное предательство — доверенных тайн (хотя скорей всего отколовшийся не собирается их разглашать, да и тайн никаких, в сущности, нет) и — главное! — самих руководителей, что-

бы, дескать, подорвать их авторитет в глазах остальных членов организации и сочувствующей массы. То, что прощается противникам, никогда не прощается так называемым ренегатам, отступникам, перебежчикам. Нечаев убивает Иванова, Петр Верховенский — Шатова, Ленин употребляет площадную брань в полемике с Троцким, Сталин обрушивается на Постышева (3).

Дело, однако, еще и в том, что "ренегатство" считается вероятным с самого начала. Не предавший сегодня может предать завтра и уж наверняка предаст послезавтра. Рядовые члены организации — все поголовно потенциальные предатели. Надо, чтобы предательства они боялись пуще казней египетских. Для этого целесообразно не только жестоко расправляться с действительными отступниками, но время от времени приносить в жертву невинных людей, ославленных предателями. Петр Верховенский, конечно, прекрасно знал, что не только никакого доноса нет со стороны Шатова, но что в ближайшем будущем ему некогда будет этим заниматься, если б даже и захотелось. Ведь к нему только что вернулась жена и на другой день родила ребенка, так что Шатов нынче весь в хлопотах и "в счастья", по свидетельству выдавшего его Виргинского (да и Эркель мог бы подтвердить то же самое, если б не был так "молчалив"). Но Петр Верховенский не только не останавливается перед прямой ложью, утверждая, что он видел несуществующий донос Шатова, но еще и приписывает последнему побуждения, из которых он должен был донести: "Ну так знайте, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением". Эк куда хватил, а ведь черт его знает, в эту минуту, может, он и верит, что для Шатова донос равняется гражданскому подвигу (по себе, небось, судит!). Тут как раз та точка, где Петр Верховенский, по словам Ставрогина, "перестает быть шутком и обращается в... полупомешанного". "Они уверены, — продолжает Ставрогин, — что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве".

Мы видим, как легко неопределенное подозрение превращается в непоколебимую уверенность и как — столь же легко — изыскиваются правдоподобные (или неправдо-

подобные — какая разница!) мотивировки. Превосходный фундамент для того, что лет через пятьдесят будет названо "революционным правосознанием". Революционное правосознание исходит из презумпции виновности. Тебя обвинили — докажи ошибочность или облыжность обвинения. А то лучше и не пытайся: раз уж обвинили — стало быть, виноват (меня же вот ни в чем таком не обвиняют).

Крайний случай такого "судопроизводства" описан Хемингуэем в "По ком звонит колокол". Главный комиссар интербригад Андре Марти отдает приказ арестовать двух испанцев, как только узнает, что они несут из фашистского тыла донесение генералу Гольцу. Допрашивая арестованных, Марти ничего не старается выяснить, а лишь придумывает мотивы, позволяющие его подозрению превратиться в уверенность:

"— Откуда вы знаете, что Гольц здесь? Вы понимаете, что это значит — являться сюда и спрашивать генерала перед началом наступления и называть его по фамилии?..

Чтобы Гольц тоже был с ними заодно! Чтобы Гольц завязал явные связи с фашистами! Гольц, которого он знает почти двадцать лет... Но он действительно был близок к Тухачевскому. Правда, и к Ворошилову. Но и к Тухачевскому. И к кому еще? Здесь, разумеется, к Каркову. И к Лукачу. А венгры все интриганы... и т.д. и т.п." (Забавно, что Марти называют "сумасшедшим", что мало отличается от "полупомешанного" Петра Верховенского).

... В связи с убийством Шатова следует еще вспомнить, что Виргинский, будучи человеком по натуре порядочным, предложил участникам "операции" своеобразный компромисс: "Когда он (т.е. Шатов) придет, мы все выйдем и все его спросим: если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить". Для нас, сегодняшних, честное слово кажется слабой гарантией чего бы то ни было, но когда-то ведь оно означало "слово чести", а за честь дрались на дуэлях. Для Виргинского честное слово товарища (пусть и бывшего) послужило бы достаточной гарантией. Но мы-то с вами наследники не Виргинского, а Петра Верховенского и иже с ним, и иже после него. И потому нам не режет слух ответ Верховенского: "На честное слово рисковать общим делом — это верх глупости!" От-

вергающие нравственность, признающие "право на бесчестье" не могут себе позволить полагаться на чью бы то ни было честь; они живут в мире, в котором нельзя не довериться, — в мире, созданном их собственными руками.

Но вот жертва принесена, Виргинский в горестном изумлении, Лямшин впал в буйство, а Петр Степанович как ни в чем не бывало витийствует:

"— Господа... теперь мы разойдемся. Без сомнения, вы должны ощущать ту свободную гордость, которая сопряжена с исполнением свободного долга. Если же теперь, к сожалению, встревожены для подобных чувств, то, без сомнения, будете ощущать это завтра, когда уже стыдно будет не ощущать... вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых..." Стоп! Умри, палач, лучше не скажешь. Личным примером ты уже начал в эту минуту "великое" дело перевоспитания людей в духе "свободного" перешагивания через трупы. Дело твое не умерло вместе с тобой: еще многие тысячи Шатовых обрели уготованную тобой для них участь.

Типы

... Если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всегда легче, а иметь идею всего труднее!

С.Т. Верховенский ("Бесы")

Роману-памфлету приличествуют героин-пародии. За исключением Ставрогина, его матери и некоторых второстепенных лиц, в "Бесах" действуют не живые люди, а какие-то странные существа, лишённые присущей всякому человеку сложности и противоречивости. Ни до, ни после "Бесов" Достоевский не выводил механических людей, людей-"органчиков", настолько чуждых его обычной углубленно-психологической манере, что они кажутся списанными со щедринских градоначальников.

Типичное — не только то, что наиболее часто встреча-

ется, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. Петр Верховенский или, к примеру, Эркель — это люди-сущности. Верховенский — вождь-сущность, Эркель — исполнитель-сущность. Есть и другие варианты (например, "женщины, изображающие собою женский вопрос"), но представляемые ими сущности менее существенны для нашего разбора.

В этом отношении Достоевский также оказался впереди своего века. Прошло некоторое время — и люди-сущности обнаружили в жизни, размножились необыкновенно и стали забирать все большую силу. Ныне они на авансцене истории, тогда как обычные люди, выражающие сами себя, а не "сущности", окончательно переместились на задворки.

В 1873 году "Санкт-Петербургские ведомости" писали, что выведенные Достоевским "фантастические призраки с нечеловеческой подлостью, глупостью и дикостью... нигде, ни в каком обществе не могли бы играть такой роли, какая им представлена в романе". Автор этих строк понял бы свою ошибку, если бы ему довелось дожить до наших дней: до Эйхмана, планировавшего массовое уничтожение евреев исключительно по долгу службы, а отнюдь не из личной к ним неприязни; до советского министра, молящего: "Верните нам смертную казнь, Иосиф Виссарионович!" (А. Солженицын, "В круге первом"); до советского охранника, желающего своим подопечным — "врагам народа" — одного: "Их бы говном кормить!" (А. Солженицын "Раковый корпус", ч. 2).

Петр Верховенский — карикатура на социалиста XIX века, даже на такого социалиста, как Нечаев. Петр Верховенский — абсолютно реальный гость из будущего, социалист XX века, единокровный брат Гитлера и Геббельса, Сталина и Абакумова, Андре Марти и Эрне Гере.

Что является определяющим в духовном облике этих людей? То, что у них ничего нет за душой, никаких собственных идей. Они нуждаются во всем готовом и, по выражению того же Петра Степановича, действуют по принципу: "Что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой". И они берут, тащат отовсюду, и вот — с миру по нитке, голому сорочка.

Петр Степанович без малейшего стеснения выбалтывает Ставрогину источники своей "государственной мудрости":

"— Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. Кармазинов прав, что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только десять таких же кучек по России, и я не улочим".

И тут же, через двадцать строк:

"— Шигалев гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье; я им займусь. Он выдумал "равенство"!"

Но вот что любопытно: сегодня Петр Степанович объявляет Шигалева гением, а завтра вопит: "К черту шигалевщину... потому что шигалевщина ювелирская вещь... Шигалев ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шигалев презирает черную работу..." Петр Степанович — человек стремительный, у него "завтра" может наступить спустя пять минут после "сегодня". В жизни на это требуется обычно больше времени, но дело тут не во времени. Сама черта схвачена Достоевским гениально. Известна фраза Сталина: "Бухарин, мы с тобой Гималаи". Известно и другое: как Сталин глумился над Бухариным в "Вопросах ленинизма", перетолковывая по своему вкусу соответствующее место ленинского "завещания". Известен и печальный конец Бухарина, который ожидал бы и Шигалева в случае успеха "наших"...

Природа не терпит пустоты. Отсутствие личности компенсируется "адской", по слову Зощенко, энергией. Если нечем убедить, остается производить впечатление, лгать и запугивать. Кому нечего сказать, тот долбит одни и те же лозунги или, напротив, молчит с таким видом, будто знает нечто важное, чему еще не время быть обнародованным. Современный "вождь" — это либо попугай, либо сыч, либо и то и другое вместе, если воспользоваться предложенной Хемингуэем классификацией плохих писателей. Гитлер и Муссолини были попугаи, Андре Марти в "По ком звонит колокол" — типичный сыч, Сталин был больше сыч, Петр Верховенский — больше попугай.

Перед некомпетентным пастырем стоит трудная зада-

ча — скрыть от пасомых свою некомпетентность и, больше того, заставить их уверовать в свою непогрешимость. Вот почему, идя к "нашим", Петр Степанович "сочиняет физиономию", так чтоб "побольше мрачности". Вот почему, находясь в их среде, постоянно сбивает их с толку: то какой-нибудь грубой выходкой (в самый разгар тайного собрания требует подать ему коньяк, демонстративно зевает, чистит ногти и т.п.), то язвительной репликой по адресу очередного оратора (тот дурак, а я, стало быть, умный), а то вдруг как бы промахнется "значительным словом", как например: "— Ну, да я не для рассуждений приехал". "Загадочный человек" — вот амплуа, в котором он выступает наиболее часто и с наибольшей охотой. "Скрывающийся", "легендарный" самодержец — вот роль, которую он предлагает Ставрогину. Он знает, на каких струнках толпы легче всего играть. В чем другом, а в этом он специалист! Вводить людей в заблуждение, покуда это удастся. Пустить в ход угрозы, когда кто-то начинает сомневаться. Сомневающимся опорочить в глазах остальных, еще лучше — убрать.

Такова эволюция отношений Петра Верховенского с Шатовым. Таков ход мыслей Андре Марти о Каркове, разгадавшем его суть да еще осмелившемся иронизировать над его "военными занятиями".

Стоит ли после этого удивляться, что всякий деспот быстро усваивает вторую специальность — палача. Для него это не роскошь, а средство удержаться в седле.

"Человека следует полагать целью, а не средством", — гласит один из категорических императивов Иммануила Канта.

— Человека следует полагать средством, а не целью, — таково глубочайшее убеждение диктаторов всех времен. (Это, кстати, их единственное убеждение).

"Умных приобщим к себе, а на глупых поедем верхом" — учит несравненный Петр Степанович Верховенский, готовый все человечество запрячь в свою социалистическую колесницу.

В сцене убийства Шатова Петр Верховенский ведет себя как истый фюрер-палач XX века. Он освобождает рядовых исполнителей от моральной ответственности; мало того, он внушает им, что совершенное преступление — не пре-

ступление вовсе, но подвиг во имя торжества общего дела. "Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело; имейте всегда это пред глазами для бодрости". Нетрудно узнать здесь будущие аргументы Гитлера и Ко, развязывающие германскому народу руки в отношении других народов. Нетрудно узнать аргументы "Краткого курса" в пользу массовых репрессий против "врагов народа". "Низшая раса", "недочеловеки", "жалкие пигмеи, осмелившиеся поднять руку на завоевания социализма" и прочее в том же духе... Одним словом, те, кого вы будете уничтожать, — не такие люди, как мы с вами. Уничтожив "низшие расы" и "жалких пигмеев", вы "обновите дряхлое и завонявшее от застоя дело".

Миллионы людей впитали эту отраву, и вот простая разгадка всех нацистских эксцессов, да и не только нацистских.

Другой вопрос: почему миллионы людей оказались столь восприимчивы к отраве? Достоевский отвечает фигурой прапорщика Эркеля.

"— Вы-то, вы-то, такой мальчишка, — такой глупенький мальчишка, — вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо зтакого соку!.. Э-эх! Тот подлец вас всех надул..." — сокрушается Шатов, но он бы содрогнулся, если б мог знать всю истину.

"Глупенький мальчишка" явился к Шатову вестником судьбы, и он, знавший, какая участь уготована Шатову, он Шатова не пожалел...

А ведь этот же самый Эркель "отсылал половину своего скудного жалованья" больной матери и, должно быть, не встретив на своем пути Петра Верховенского, прожил бы всю жизнь не шумно, незаметно. Однако он встретил и тотчас "преклонился". "Если б он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром и тот... подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался". Не следует ли расценивать это предположение как намек? То есть что не первому встречному подчинился бы прапорщик Эркель и что нужен был именно монстр, чтобы его себе подчинить? Петр Степанович был как раз подходящий монстр.

А что же такое был Эркель? Ничтожный офицеришка, без средств к существованию, без корней, без малейшей надежды добиться чего-нибудь в жизни. Мальчишка, никому не нужный, кроме своей матери. Жалкий и униженный. Обозленный на весь свет. Ко всему притерпевшийся пушкинский Евгений, у которого не достаёт душевных сил выкрикнуть наболевшее "ужо тебе!". Люмпен с воспаленным мозгом, с путаницей понятий. Нечто сбивчивое, неясное, аморфное. Нечто серое, невыразительное, сливающееся с общим фоном. Социальный пассив, но такой пассив, который в подходящий момент ("революционная ситуация") может стать весьма активным орудием в руках очередного демагога. "... Эта сволочь, сама не зная того, почти всегда попадает под команду той малой кучки "передовых", которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно..." Именно куда угодно, и завидную пронизательность проявляет тот майор, который говорит о своей племяннице-"атеистке": "— Ну, положим, умные люди не веруют, так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь, ты что в Бюге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигага". Наши современные антисемиты по долгу службы — не родня ли они "дурынде"-племяннице? Их науськали на евреев, так они евреев "не пуцают". А спустили бы очередную инструкцию, предписывающую "пуцать" исключительно евреев, — евреям бы стали "лампадки зажигать".

Когда же "сволочь" уже подпала под команду "передовых", на дрессировку не требуется много времени. Дрессированный пес, по команде хозяина, бросается на правого и виноватого; его целью не является восстановление справедливости или упразднение беспорядка; его цель — как можно точнее выполнить команду, послужить своему повелителю. Так и люди, подобные Эркелю, понимают служебные идеи не иначе "как слив ее с самим лицом, по их понятиям, выражающим эту идею".

Разумеется, верой и правдой служа "фюреру" или "вождю и учителю", "сволочь" и себя не забывает. Поскоблив как следует шелуху громких слов, присяг на верность и прочего восторженного ржання, мы без труда докопаемся до мотивов личной выгоды. "Маленьких фанатиков"

Эркелей меньшинство, и, кстати, такой инженер человеческих душ, как Петр Верховенский, предпочитает иметь дело с "чистыми мошенниками".

Но Эркель выдвинут у Достоевского на первый план, потому что Эркель опаснее любого мошенника. В деле тотального разрушения один Эркель принесет больше пользы, чем сотня мошенников. Это гений фанатической преданности лицу, воплощение холуйства, собака своего хозяина. И потому-то "чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убийстве". Таким Эркем был по отношению к Гитлеру Геббельс, Сталин имел своих Эркелей (не был ли немножко Эркем Хрущев в сталинский период?). Эркели — цвет холуйства и цвет палачества, и уже по ним равняются дюжинные, добросовестные, исполнительные работники. Эркель — архимедов рычаг Петра Верховенского, и разве они не перевернули Землю?



Необычный роман Достоевского, в художественной ценности которого готов был усомниться сам автор, а идеологию освистали все "передовые" тогдашней России и вся ее "сволочь", в последующие сто лет возвысился, словно новый Апокалипсис, возвестивший конец старого мира и приход нового, без нравственности, без красоты, без сложности.

При самом зарождении "новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей" проник Достоевский в сатанинскую сущность этого принципа и орлиным взором великого художника и мыслителя доглядел "кухонные подробности" будущего социального устройства, проросшего на почве этого принципа.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Достоевский первый сигнализировал человечеству об опасности, грозящей ему "слева". Увы, он не был Господом Богом, чтобы заставить бесов выйти из человека, вселить их

в свиней и утопить последних в озере. Бесновавшийся не исцелился. Исцелится ли когда-нибудь? Кто знает?..

Послесловие 1979 года

При подготовке этой работы к публикации в "тамиздате" я подверг ее лишь незначительной редакционной правке. Конечно, за семь лет мои взгляды кое в чем изменились, но мне не хотелось модернизировать старую статью, чтобы не снизить ее накал. Впрочем, в главном, мне думается, мои мысли не утратили своей актуальности и, боюсь, не скоро еще ее утратят: социализм, в различных его модификациях, сегодня так же силен, как семь лет назад.



В издательстве «Синтаксис»
вышел сборник стихов

Геннадия АЙГИ

«ОТМЕЧЕННАЯ ЗИМА»

Издание подготовила
В Лосская

Предисловие
Пьера Эмманюэля

Цена 96 фр.фр.

При заказе в издательстве
скидка 20 %

А.Н. Кленов

ПУШКИН БЕЗ КОНЦА

Название этой статьи нуждается в объяснении. Объясняется оно некоторой аналогией между литературными интересами нашей нынешней публики и столь же дотошными изысканиями немцев по поводу Гете. Дело было в конце прошлого века, когда немецкая культура клонилась к упадку, постепенно превращаясь в ученость, и, как это бывает в таких случаях, комментаторы заняли место поэтов. Больше всего досталось Гете. Были изучены все мелочи его жизни, биографии его родственников и знакомых, и в особенности все подробности, касающиеся его тридцати шести официально признанных любовниц, увековеченных им в стихах и в прозе. Было, в частности, прозаическое свидетельство поэта, что в такой-то промежуток времени он любил Фридерiku. "Здесь Гете ошибается, — поправил его комментатор, — он любил в это время Амалию".

Нездоровый интерес ко всему, касавшемуся Гете, сам по себе был социальным явлением, заслуживавшим внимания. Один автор, занявшийся этим вопросом, написал статью под названием: "Гете без конца".

Нечто подобное мы видим теперь: неистощимое любопытство наших филологов, литераторов и читателей почему-то вызывает Пушкин. Это явление кажется, на первый взгляд, парадоксальным. Вряд ли можно найти что-

Прислано из России.

нибудь более чуждое современному человеку, чем лирика этого поэта. Ее романтическая окраска вызывает у нынешнего читателя ироническое недоверие: напряженные, исключительные страсти воспринимаются им как обязательный ассортимент старой литературы и никак не связываются с его личным опытом, очень далеким от крайностей этого рода. Что касается менее высоких предметов, то откровенность Пушкина в их изложении представляется в наше время чем-то вроде наготы античных статуй, ни у кого не вызывающей особого интереса. Пушкина почти не читают, и не только по вине школьных учителей: самый склад эмоций в наше время бесконечно далек от чувствительности тех времен, и Пушкин попросту не нужен.

Но, как мы видим, интерес к нему не убывает. Бесконечный поток печатной продукции наполняет журналы, а книги о Пушкине расходятся по тайным каналам нашей торговли, даже не попадая на прилавок. Пушкин без конца! Как видно, нечто общее с Пушкиным у нашей публики все же есть, и если не в качестве поэта, то по некоторым другим причинам Пушкин ей зачем-то нужен.

Простейшее объяснение состоит в том, что публику надо чем-то занять, а сколько-нибудь интересных предметов, открытых для публичного обсуждения, осталось совсем немного. Интерес представляет лишь то, о чем можно спорить. Важно поэтому выбрать предмет, о котором можно невинно и безнаказанно спорить в печати. Слишком уж правдоподобный Пушкин нашему времени не подходит, и собранный Вересаевым том подлинных воспоминаний о Пушкине, как все понимают, переиздать просто невозможно. Но при условии пиетета Пушкин оказывается первоклассным объектом окололитературной возни: он достаточно далек от наших дней, чтобы не привлекать слишком пристального внимания начальства, весьма известен, хотя бы понаслышке, и во многом, о чем дозволено спорить, предельно неоднозначен.

Дискуссии этого рода всегда помогают что-нибудь забыть. Вспоминаю мое первое столкновение с пушкинизмом. У нас была в школе учительница Калерия Петровна, древняя старуха, которой приписывали невозможное прошлое. Рассказывали, что Калерия (или Холерия, как ее на-

зывали в повседневной жизни) преподавала свой предмет, якобы, в Смольном, когда он был еще не штабом революции, а институтом благородных девиц. Больше всего Холе-рия любила диктанты. Она выбирала для диктантов самые удивительные слова, относившиеся к нашей речи примерно так же, как благородные девицы к девочкам из нашего класса. В особо ответственных случаях нам удавалось, однако, предотвратить диктант посредством отвлекающего маневра. Дело в том, что у старухи, наряду со страстью к диктантам, было еще одно увлечение: идолом этой старой девы был Пушкин. Она знала о Пушкине все, что можно было прочесть, и могла говорить о нем без конца. Надо было лишь втянуть ее в пушкинскую тему, а вытянуть ее мог только звонок. И вот один из нас, заранее подготовившись, поднимал руку и задавал вопрос. Он робко выражал сомнение по поводу какой-нибудь загадки пушкинской жизни, например, носил ли Пушкин очки. Надо было видеть, как у старухи разгорались глаза! Носил ли Пушкин очки, было неясно, мнения специалистов по этому вопросу невозможно было примирить. Если он их носил, то не слишком часто, но нельзя с уверенностью утверждать, что он их не носил никогда! Это было настолько увлекательно, что напомнить о диктанте было бы просто бестактно.

Конечно, жизнь и приключения Пушкина играют в нашем обществе определенную отвлекающую роль. Но есть и другие отвлекающие предметы, дающие повод для бессмысленных споров. Можно спорить об охране природы (или, как теперь модно говорить, "окружающей среды"), о росте населения земного шара, об истощении сырьевых ресурсов или, наконец, еще о каком-нибудь писателе, достаточно интересном в смысле скандальной хроники или несуразного мировоззрения, например, о Достоевском. Каждый из спорщиков твердо знает, о чем можно говорить и о чем нельзя; а при таких условиях никакая истина из спора не родится. Все сводится к некоторой игре, развлекающей публику и доставляющей сочинителям заработок и престиж. Главное удовольствие состоит при этом вовсе не в обсуждении самого предмета спора, а в уклонении от других предметов, о коих пока еще совсем забыть невозможно. Нужно еще два-три поколения, чтобы никакие лиш-

ние вопросы не могли уже родиться в голове человека, и тогда человека больше не будет, а будет некий играющий автомат. Думаю, что в Новом Прекрасном Мире значительная часть времени будет посвящена дискуссиям на невинные темы. Стихи Пушкина, разумеется, будут тогда изъяты из обращения, но сам Александр Сергеевич, с его няней, друзьями и подругами, Натальей Николаевной и историей дуэли будет по-прежнему предметом горячих споров.

И все же, пушкинская тема слишком уж назойливо возвращается, тесня другие отвлекающие и развлекающие предметы. Неожиданная популярность поэта должна объясняться чем-то иным.

Другое объяснение связано с общей тенденцией нынешней гуманитарной учености, которую я назову (из вежливости) филологическим уклоном. Главная установка ученых этого рода состоит в том, чтобы как можно глубже зарыться в отдельные факты, ни в коем случае не пытаюсь их осмыслить. Осмысливать факты опасно, а рыться в фактах уже опасности не представляет. Разумеется, и здесь надо придерживаться неписанных правил: каждый ученый знает, каких фактов не следует замечать; а при таких условиях никакая истина из фактов не родится. Однако, наблюдаемый интерес к Александру Сергеевичу нельзя объяснить невинным копанием в малозначительных фактах, составляющих занятия наших гуманитарных ученых. Их диссертационные уголья наполнены разнообразной дичью, между тем как все связанное с Пушкиным уже основательно истощено, да и сам предмет все время сбивает с фактов на толкования, что вынуждает филолога к особой бдительности. Нет, ученые мужи и жены, пишущие о Пушкине, без сомнения ищут *популярности*; но тогда рвение их не может быть объяснено муравьиными филологическими интересами, и мы снова сталкиваемся с вопросом о необычайной популярности Пушкина, с которой начался этот разговор.

Третье объяснение связано с характерным для нашего времени языком намеков, не имеющим до сих пор научного наименования. Берется какой-нибудь общеизвестный запретный факт повседневной жизни и подыскивается аналогичное явление в жизни давнопрошедшей: в древнем Риме

обращают особое внимание на политическую систему Августа; на Руси обнаруживают пикантные подробности жизни и деятельности Ивана Грозного, еще недавно принадлежавшие, в свою очередь, к запретным фактам этого неприятного прошлого, но теперь, после робких вылазок целого поколения историков, вновь перешедшие в категорию фактов дозволенных; или же, что требует особенной смелости и вменяется в заслугу как редкое гражданское мужество, какой-нибудь журналист-международник сводит счеты с фашизмом — разумеется, немецким. Язык намеков и подмигиваний, как я уже сказал, не имеет научного названия, по упущению наших социологов, для которых вся окружающая жизнь представляет великий запретный факт. Было бы слишком лестно называть его эзоповским языком. Эзоп изображал разные вещи не просто для развлечения публики, но для назидания; между тем, нынешний язык подмигиваний никаких полезных уроков не содержит, поскольку обе участвующие в игре стороны — и авторы, и читающая публика — одинаково лишены каких-либо нравственных поползновений. В социологическом отношении язык подмигиваний напоминает разговоры в лакейской, где главным предметом остроумия были секреты барской жизни. Это вовсе не исключало, а предполагало почтение к барам и зависть ко всему, что бары могли себе позволить. Поскольку в нынешней лакейской свобода слова несравненно более ограничена, чем в барских домах прошлого века, приходится прибегать к иносказаниям, достаточно прозрачным, чтобы смысл их мог дойти до нынешнего обездоленного по части образования интеллигента. Намекают на что-нибудь всем известное, все узнают, о чем идет речь, и понимающе подмигивают друг другу.

Конечно, жизнь нашего великого поэта дает достаточно материала для лакейских подмигиваний и смешков. Но дело здесь не только в узнавании, в сопоставлении похожих вещей двух разных времен. Все это недостаточно объясняет, почему нашей публике так нужен Пушкин, а не что-нибудь другое.

Причины его популярности, о которых я говорил, очевидны, но возникший у нас культ личности Пушкина объяснить не могут. Верно, что Пушкин представляет не-

исчерпаемые возможности для невинной болтовни, филологических изысканий и остроумных намеков, но главное значение Пушкина для нашего интеллигента в том, что он ему чем-то *близок* — или кажется близким. Не так уж ему важно, что Пушкин писал стихи, и стихов этих он, по описанным выше причинам, не читает. Подлинный вклад Пушкина в русскую культуру его не очень касается, потому что он некультурен, а если и есть у него некая культура в этнографическом смысле слова, то давно уже не русская. Величие Пушкина наш интеллигент измеряет той же меркой, какую применяет сам в повседневной жизни, оценивая себя и других: единственный оставшийся у него критерий оценки человека — это статус, официально признанный общественный ранг. Он не способен уже оценить талант непосредственным личным суждением, потому что потерял непосредственность суждения, да и с личностью дело обстоит плохо. Чтобы отличить хорошие стихи от плохих, нужна опять-таки эта загадочная комбинация унаследованной традиции с личным, неповторимым складом мыслей и чувств, которая называется культурой. Но культура утрачена до такой степени, что самая утрата ее уже не осознается. Обо всех явлениях судят по тому, что о них принято говорить, то есть ищут во всяком вопросе "апробированное мнение". Было бы слишком долго здесь объяснять, как складывается это мнение, да это и не входит в нашу задачу; заметим только, что в наших условиях апробированное мнение определяется, как правило, государственным аппаратом. Ученый, писатель, общественный деятель для нашей публики тот, кого государственное учреждение таковым признало, выдав ему об этом документ. В обществе чиновников иначе и не может быть, и если чиновник не находит признания у своего начальства, то он ищет себе другое: иначе он не знает, как жить. Так вот, у Александра Сергеевича статус просто великолепный: его признавали все казенные авторитеты, и царь, и Белинский, и все министры просвещения и культуры. Можно не сомневаться, следовательно, что он был "великий" и "гениальный" поэт. Итак, наша публика видит в Пушкине солидную, выдержавшую испытание временем ценность, столь же надежную, как старые книги, оказавшиеся самым

выгодным способом помещения денег. Наш современник хочет знать, как вел себя в жизни человек, наделенный великим талантом, и то, что он об этом узнает, кажется ему удивительно близким. В этом и заключается тайна обаяния Пушкина для нашего поколения.

Не все великие люди прошлого, даже с самым достоверным статусом, представляют в этом смысле интерес. Данте был тоже великий поэт; но известно, что любил он всю жизнь, и притом платонически, одну Беатриче, держался одних и тех же убеждений — был каким-то гвельфом, и очень уж не любил ступеней чужого крыльца. Столь же мало привлекает унылая бородатая личность Щедрина, его упрямая мелочность, его ненависть ко всем простым радостям жизни, по природе своей всегда несколько нечистоплотным. В великом человеке нас интересует то, чем он на нас похож.

Что же ищет в Пушкине современный интеллигент? Как раз то, в чем он совсем не велик. Здесь нет никакого парадокса: речь идет о важном законе психологии. Человеку свойственна глубокая потребность в самоутверждении. Каков бы он ни был, чем бы ни занимался, он должен чувствовать себя порядочным человеком, правильным, честным и, во всяком случае, не хуже других. Надо рыться в истории, чтобы найти несколько сознательных злодеев, цинично признававших мотивы своих поступков; да и в этих случаях, как можно подозревать по наблюдениям над более обыкновенными циниками, самый цинизм их служил в патологически извращенной форме той же цели самоутверждения. Если образ жизни человека не дает ему никакой разумной возможности самоуважения, он жертвует разумностью, но сохраняет самоуважение. На место подлинных мотивов поведения, как правило, подставляются мнимые, и делается это подсознательно, без ведома той небольшой части личности, которую можно назвать рассудком. Психологи называют такой процесс *рационализацией*; это не какое-то особое болезненное явление, а один из главных законов жизни: тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Как видите, поэты постигли этот закон задолго до ученых. Чтобы обмануть себя, некоторые вещи мы вынуждены себе прощать. Не все-

гда удастся забыть о них, и тогда возникает задача самооправдания. Чаще всего оправдываются тем, что так поступают все. Моцарт написал очаровательную оперу под этим названием, и многие шалости, свойственные и слабому, и сильному полу, могут быть в самом деле снисходительно признаны и прощены. То, чего мы не можем себе простить, обычно совпадает с тем, чего мы не смеем за собой признать. В этом случае процесс самооправдания происходит подсознательно, но во всех случаях он требует отождествления нашей индивидуальной природы с человеческой природой вообще. Мы должны быть уверены, что, начиная с Авеля и Каина, так поступают все, и с удовольствием принимаем любые свидетельства, поддерживающие такую веру. Чем более значительны люди, совершавшие такие поступки в прошлом, тем больше их относительный вес в непрерывном самоочистительном процессе, на который мы осуждены. Поэтому так интересно рыться в грязном белье так называемых великих людей. К несчастью, в области литературы жизнь знаменитого человека становится общим достоянием, добычей непочтительного потомства, запускающего руки в письма, любовные записки, долговые расписки, и даже в бумаги, подаваемые начальству, что в смысле нескромности хуже всего.

Но вернемся к нашему предмету. Конечно, в жизни Пушкина было много такого, что ко всему сказанному не подходит. Поэт, написавший каждую из "маленьких трагедий" в один день болдинской осени, не может быть затронут ничем, что будет сказано дальше. Но такой Пушкин нашему современнику ничем не льстит и ни в чем не может его оправдать. Стихи Пушкина мы будем рассматривать лишь в той мере, в какой они позволяют понять написавшего их человека; а в этом они, за немногими исключениями, не очень помогают, потому что Пушкин удивительно объективен. В нем есть нечто безличное или, лучше сказать, идеально воплощенное всеобщее, и лишь изредка прорывается пронзительная нота личной муки, жалобы или тоски, какие мы находим в каждой строчке более субъективных поэтов. Пушкин чеканил свои стихи, во многом отвлекаясь от самого себя, отдавая им себя, в чем было надо, но,

конечно, не решал сознательно, какую часть себя в каждом случае отдает.

Если мы хотим понять, какой это был человек, надо принять во внимание его время. Зрелая жизнь Пушкина совпала с началом царствования Николая Павловича. Чтобы понять положение русского общества в то время, надо прежде всего осознать, что значит это слово. Если понимать под обществом ту часть населения, где читают книги, рассуждают о прошлом, настоящем и будущем, о том, что хорошо и что плохо, где вырабатываются так называемые положительные идеалы, то эта публика насчитывала тогда несколько тысяч человек, точно так же, как в наши дни. Остальная часть населения России прозябала в пассивной зависимости от сложившегося уклада жизни, традиций — в общем, от принятых шаблонов поведения. Тиражи книг и журналов, составлявших в то время русскую литературу, отвечали численности "образованного общества". Тогда не было государственного финансирования пустых тиражей, но литература, ходившая в списках без разрешения начальства, уже была. Большая часть "образованной публики" состояла на государственной службе и переживала все вытекающие отсюда условия. Однако, значительная часть "общества" в материальном отношении не зависела от начальства: имения помещиков были практически неотчуждаемы, и начала уже складываться промышленно-купеческая прослойка, рано потянувшаяся к образованию в лице Боткиных, Полевых и других пробиравшихся в "общество" простолюдинов. "Общество" было неоднородно: бедный провинциальный дворянин, получивший университетский диплом, вряд ли был большим аристократом, чем Белинский, тоже дворянин за выслугу лет своего отца. Дворянство было в основном служилое.

Понятия русского общества сложились под действием русской традиции и под нажимом Европы. Если не говорить о киевской и новгородской старине, оставившей мало следов, это была традиция московского государства, сложившегося после татарского нашествия под сильнейшим давлением азиатских господ. Владычество татар началось в тринадцатом веке и продолжалось в прямой форме свыше двухсот лет; впрочем, еще в конце семнадцатого века при-

ходило́сь опасаться набегов и платить дань крымскому хану, так что первым русским государем, вполне освободившимся от татар, был Петр Великий. Из наших учебников истории трудно понять характер татарского господства и его влияние на русские нравы. Если оставить в стороне заражение чужой и примитивной культурой, остается то бесспорное несчастье, что русские были рабы, а татары — господа. Русские князья находились в зависимости от татарского хана, но это не были вассалы в смысле европейской феодальной системы. Не было никакого обычного права, исчезло всякое понятие о чести. Чтобы стать великим князем, надо было получить инвеституру в ханском Сарае, так называемый ярлык. Для этого будущий князь должен был ехать на поклон к хану и подвергался всем унижительным церемониям, каким научились татары во всех частях завоеванной Азии; а в Азии унижать умели. Разумеется, хан не считал себя обязанным утверждать в княжеском звании законного претендента и не утруждал себя изучением родословных: он выбирал из наличных кандидатов того, кто ему больше угодил. Это был конкурс унижения и школа азиатской борьбы, где допускались все приемы и где престол теряли вместе с головой. Александр Невский, причисленный к лику святых церковью и нашей исторической наукой, силен был как раз тем, что пользовался благоволением хана и одержал победу над немецкими рыцарями благодаря вспомогательному отряду татар. Получив ярлык, князья правили под контролем хана: на современном языке они были коллаборационисты, а сотрудничество их с татарами состояло в том, что они помогали расправляться с непокорными соплеменниками и собирали для хозяев всевозможную дань, в том числе девушками. Татары считали всех женщин завоеванных стран частью своей добычи; нравственное влияние такой практики, продолжавшейся в течение нескольких поколений, нетрудно себе представить. Князья, конечно, хитрили и надували хана, как могли, пользуясь удаленностью своих укрытых лесами и болотами вотчин; хитрить приходилось и церкви, которую татары щадили, опасаясь неведомых богов. Хитрить должен был и крестьянин, чтобы отдал татарам дочь соседа. Время от времени наезжали ревизоры, татарские баска-

ки с отрядами, наводя ужас на русские города и веси. О борьбе не могло быть и речи, потому что князья и местная знать раболепно выполняли волю татар. Отшельники уходили в леса — молиться.

Московское царство устроилось по татарским образцам. Боярская честь свелась к препирательствам, где кому сидеть за царским столом. При Иване Грозном, укрепившем татарские нравы духом Византии, вполне установился стиль русской жизни, не оставлявший места личному достоинству и чести, равнявший боярина и холопа в постоянной готовности к повиновению и унижительным жестам. Вельможи, обращаясь к царю, называли себя Мишками и Ивашками, валились на колени в своих пудовых шубах, трясли бородой. Это была не вся русская жизнь, но существенная часть русской жизни. И мы должны как следует понять ее, чтобы оценить дворянскую честь пушкинских времен. Помните звучные стихи:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил?

Не будем касаться здесь самого спорного факта: если и служил, то *как* служил, и каков был святой?

Понятие дворянской чести было импортировано с Запада вместе с другими новшествами Петра. Новый тон благородного поведения утвердился не сразу. Еще при Екатерине европейские понятия были причудливо смешаны с унаследованными привычками холопства, как об этом рассказывает Чацкий, да и сама Екатерина была ярким примером того же смешения стилей. История ее жизни, еще памятная старшему поколению в юные годы поэта, представляла собой азиатское перерождение: молодая образованная немка, приехавшая в Россию с сентиментальными иллюзиями, либеральными взглядами и, вместе с тем, наделенная редким в этой стране здравым смыслом, постепенно превращается в деспотическую русскую барыню, устроившую себе гарем из лакеев и делающую из этих лакеев полководцев и министров: вся политика страны вращается вокруг постели престарелой императрицы. Екатерининские нравы Пушкин знал по рассказам очевидцев. Знал и о ведомстве

Шешковского, где пытали политических противников просвещенной царицы.

Прошлое, о котором помнило русское общество пушкинской эпохи, не было этому обществу приятно. Это было прошлое рабства, унижений и казней, о котором хотелось забыть. Последним грязным пятном русской истории было воцарение Александра, молча благословившего убийство своего отца: О стыд, о ужас наших дней! Как звери, вторглись янычары! Падут бесславные удары... Погиб увенчанный злодей.

И здесь янычары, азиатские нравы, от которых надо уйти. Болезненно обостренное чувство чести, обостренное именно этим прошлым, от которого так трудно уйти, — и ущербная честь, несущая в себе неизбывный груз наследственного рабства.

Начало царствования Александра было для русского общества временем великих надежд. И лучше всех это выразил Пушкин. После деспотизма полубезумного Павла — наступила оттепель, и распустилось на Руси сто цветов. Было несколько сот молодых дворян, получивших образование на европейский лад, а в некоторых случаях и подлинно образованных: в большинстве это были офицеры, видевшие Европу во время наполеоновских войн и узнавшие по личным впечатлениям жизнь, о которой читали во французских книгах. Между этими молодыми людьми и обществом их отцов был резкий разрыв. Отцы их, усвоив некоторые правила европейского обхождения, в практической жизни были ориентированы на реальность русского быта. Редкие исключения вроде Радищева и Новикова не выходили из сферы литературы и возлагали надежды на "просвещенный абсолютизм". Между отцами и детьми была французская революция: пока гувернеры-французы, нередко сами осколки старого режима, учили русских мальчиков языку прекрасной Франции, насаждая на Руси вольтерьянство и руссоизм, свободомыслие и безбожие, чувствительную любовь к природе и простым людям, — Европа необратимо перешла в девятнадцатый век. Пушкин прекрасно владел французским языком, какому научился в детстве: для приезжих французов это был старомодный, тяжеловесный и несколько вычурный язык "бывших лю-

дей”. Офицеры, побывавшие в Париже, принесли с собой более легкую речь и более свободный подход к вещам. Важно понять, насколько они были молоды: декабристам было в среднем лет двадцать пять, так что человек тридцати пяти — сорока лет считался у них стариком. Это была революция мальчишек.

Инфантильность среды, о которой идет речь, объяснялась не столько возрастом, сколько обстоятельствами жизни. В России воспитание молодых людей было направлено главным образом на французский язык и хорошие манеры; это считалось достаточным для успеха в свете, а карьера сыновей мыслилась отцам, как это всегда бывает, по собственному образцу. Но в других странах система воспитания не ограничивалась импортом гувернеров: сложившиеся устойчивые общества выработали механизмы воспроизводства общественных типов, включавшие глубокое неформальное воздействие на молодого человека окружающей сословной среды. Основой воспитания были авторитет старших, обаяние унаследованных традиций, ощущение принадлежности к некоторому общественному классу и самоутверждение в этом классе. В России, породившей поколение декабристов, этот механизм дал осечку, и возник очень странный, не приспособленный к условиям продукт.

Окружающая жизнь была в непримиримом противоречии с миром французских книг. Отцы не были похожи на дворян в западном смысле слова. Рабы перед начальством, самодуры перед челядью, они были непригодны для подражания. Таким образом, расстроилось воспроизводство дворянской верхушки. Чувство чести сделало в этом поколении существенный шаг вперед: из области манер оно перешло в область поступков. И неизбежный контраст с наблюдаемой жизнью придавал этому чувству болезненную остроту, о чем еще будет речь впереди.

Нравы лакейской и девичьей влияли не меньше книг. Можно было теоретически обсуждать и то и другое, но барская привычка неизбежно создавала бар. Привычка жить на готовом, привычка к бесплатным услугам дворни, привычка к сексуальной эксплуатации крепостных девок (по поводу которых совсем недавно Карамзин сделал откры-

тие, что и крестьянки чувствовать умеют) — все это само собой разумелось, уживалось с пылкими речами за бокалом шампанского и чтением запрещенных книг. Тип человека, возникший в этих условиях и все это в себе совместивший, не мог быть зрелым — он был ребячлив. Чтобы понять декабристов, надо не упускать из виду образ жизни этих молодых ребят, странным образом сочетавший в себе черты рабства и свободы.

Во многом они были свободнее, чем любое поколение русских молодых людей до них и после них. Прежде всего, они были свободны от забот. Все они жили за счет труда крепостных — необходимость добывать в поте лица свой хлеб представлялась им участью людей низшей породы или скучным библейским поучением. Они привыкли к изрядному комфорту: их еда и питье, одежда и жилище, вся обстановка их жизни должна была отвечать требованиям парижской и лондонской моды. Шампанское на пирушках было и в самом деле из Шампани, а употреблявшееся к столу бордо доставлялось из одноименного порта. Денежные заботы их касались обычно карточных долгов и дорогостоящих женщин. В общем, жили они беззаботно и привольно, юность их не была омрачена унижительной заботой о куске хлеба. Моралисты всегда любили распространяться о преимуществах нищеты, но нищета — это прежде всего зависимость от других, и самая гордость, происходящая из нищеты, несет на себе печать своего происхождения: она жадно ест и робко смотрит по сторонам, опасаясь хозяина. Молодые люди, среди которых рос Пушкин, на хозяйна не озирались. По складу своей души они были свободнее разночинцев, молодость которых заполнялась беготней по урокам, сокрушением о продранных локтях и покровительством меценатов.

Они были свободны также от прописной морали. Глядя на них, можно иногда подумать, что они были свободны от морали вообще. Они наслаждались жизнью, как это было принято в их кругу; светская жизнь, то есть балы, приемы, карточная игра, соединялись с развлечениями вне света, без присутствия дам: дружескими пирушками в более или менее приличной обстановке или посещением совсем уже неприличных заведений. Отношение к таким заведени-

ям было столь же терпимое, как в наше время к выпивке вне дома. Известно замечание Пушкина, что он не считает себя обязанным воздерживаться от обеда в ресторане лишь по той причине, что у него есть дома повар, и суждение это принадлежит зрелому Пушкину, женатому на горячо любимой Наталье Николаевне. Конечно, крамольные разговоры не вели в присутствии девиц, но, как правило, за бутылкой вина.

Религия не очень их стесняла: отцы их были уже вольтерьянцы, и вообще это была необременительная условность. Главным этическим принципом была дворянская честь; как мы уже говорили, это было болезненно обостренное чувство, связанное с унижительным прошлым.

Легкомысленный образ жизни, столь бросающийся в глаза при не слишком почтительном знакомстве с пушкинскими стихами, имел и свои преимущества, что бы там ни говорили моралисты. Дворяне того времени были сравнительно свободны от сексуальных комплексов, связанных с невольным воздержанием или тайными грехами, столь характерными для молодых разночинцев. Есть и такой вид свободы, и в этом современники Пушкина были свободнее любого другого поколения русских молодых людей.

Многие из них были талантливы, а большинство — достаточно утонченно, чтобы ценить и поощрять талант. Это и был тот короткий период русской жизни, о котором писал Бердяев: "В русской литературе и русской культуре был лишь один момент, одна вспышка, когда блеснула возможность Ренессанса — это явление Пушкинского творчества, это — культурная эпоха Александра I. Тогда и у нас что-то ренессансное приоткрылось. Но это был лишь короткий период, не определивший судьбы русского духа".

Этот проблеск Ренессанса и дал нам поэзию Пушкина, единственное в своем роде *светлое* явление русской литературы. Но светлая сторона личности Пушкина и его эпохи не будут нас здесь интересовать. Причина, по которой мы присматриваемся к "русскому Ренессансу" — не блеск его, а его нищета. В самом деле, что может быть дальше от *нашей* эпохи, чем настроение пушкинского гимна, прославляющего, вместе с музами, — *разум?*

Музы чужды нынешнему человеку, а разум не внушает ему доверия. У него нет убеждений, ради которых стоило бы что-нибудь делать: самое назначение разума — действие для достижения цели — вызывает у него подозрение, связывается с наихудшими примерами действий, в ходе которых цели непременно подменяются, а действующие лица превращаются в злодеев. Нет, разум окончательно скомпрометирован в его глазах, и ему неведомы те состояния духа, в которых поэту являются музы. Что его в самом деле волнует — это его комплексы и страхи.

Вернемся же к пушкинской эпохе и посмотрим, какие комплексы и страхи преследовали современников поэта. Именно это важно для понимания пушкинского культа, потому что в прошлом, настоящем и будущем человек ищет и находит самого себя.

Молодые люди, среди которых воспитывался Пушкин, были не только свободны — они были еще и рабы. Их понятия, взятые из книг и еще больше происходившие из неопределенного, но мощного источника, именуемого духом времени, сталкивались с реальностями русской жизни. Если они служили в армии — с аракчеевской муштрой, с неизбежной судьбой солдата; если служили в присутственном месте — с воровством и взятками, неизбежной судьбой чиновника. Долго служить — значило самому стать солдатом или чиновником; уйти в отставку — значило стать рабовладельцем. Жизнь сулила этим молодым людям очень мало разнообразия: за юношескими увлечениями следовала очень прозаическая зрелость. Вспомните Ленского, будущее которого Пушкин столь достоверно предсказал, что ему осталось только этого героя убить.

Человек устроен так, что должен что-нибудь делать. Трагедия того времени состояла в том, что ничего нельзя было сделать. Не требовалось особого ума, чтобы оценить инертность России, ее неприспособленность к европейским системам. Декабристы в большинстве своем были совсем не умны, но Пушкин обладал смолоду инстинктивным пониманием жизни, отличающим великого поэта от всякого другого. В 1823 году, за два года до восстания, этот молодой человек сочиняет удивительное стихотворение:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремящими да бич.

Был короткий период, в начале царствования Александра, когда возникла, казалось, некоторая возможность трудиться на благо отчизны. Но оттепель скоро прошла, Сперанского увезли в Сибирь, и царь не внушал больше надежд: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда". Нельзя сказать об этом яснее. Настроение известного стихотворения, адресованного Чаадаеву, представляет сочетание глубокого, органического неверия с довольно искусственным, риторическим порывом.

Таковы были эти молодые люди, вошедшие в историю под именем декабристов. Порыв их был на поверхности сознания, а в глубине была — безнадежность.

Отношение их к государственному строю России было неоднозначным. Кипучая ненависть к рабству и унижению соединялась у этих людей с поразительной готовностью жить за счет рабства и унижения других, с весьма серьезным отношением к общественному положению и всему декоруму светской жизни. Чтобы быть дельными людьми, они слишком много думали о красоте ногтей. Всем своим воспитанием и привычками эти люди принадлежали той же барской России, которую клялись сокрушить. Нередко декабристы знали своих судей: это были их знакомые. Между Россией крамольной и Россией казенной не было четкой грани. Не было ничего зазорного и в общении с шефом

жандармов, поскольку и он был дворянин. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, сам отдавший в молодости некоторую дань либеральным тенденциям, происходил из семейства фон-Гинденбург-Бенкендорфов, главная ветвь которого осталась в Восточной Пруссии и небезызвестна в немецкой истории; граф говорил по-французски и был вежлив в обращении, когда хотел.

Да и царь был дворянин, первый дворянин России и естественный феодальный сюзерен всех русских дворян. Такое представление, импортированное в восемнадцатом веке вместе с понятием о чести, служило прикрытием извечного русского холопства, от которого некуда было уйти. Жизнь была устроена так, что приходилось служить царю, угождать царю, бояться царя, и все эти необходимости нуждались в обосновании. Таким образом, дворянское понятие чести рационализировало покорность исторически сложившейся власти под видом верности государю. Бунт против самодержавия был здесь внешним слоем, а внутри было рабство. Это проявлялось в критические моменты их жизни, и мы видим непреклонного революционера Пестеля рыдающим на коленях перед царем. Составленный Пестелем проект конституции, "Русская Правда", предусматривала систему государственной безопасности, лишь численно уступающую нынешней. Отец Пестеля был сибирский генерал-губернатор, свирепый даже по тем временам: от всего этого трудно было уйти.

Внутренним раболепием перед властью объясняется весь ход восстания декабристов. Сама по себе идея дворцового переворота, как показывают примеры 18-го века, была практически осуществима. Но заговорщики 18-го века не были скованы почтением к власти: они сами составляли часть этой власти, видели ее насквозь и привыкли ею манипулировать. Даже к концу века, после долгого царствования Екатерины, авторитет русского престола все еще не настолько укрепился, чтобы помешать заговору вельмож против Павла, выполненному по старым образцам. Положение декабристов было уже иным. Самое воспитание, укоренив в них западное понятие феодального вассальства, не позволяло им смотреть на престол как на часть собственного хозяйства: парадоксальным образом эти мо-

лодые люди получили с Запада идейное обоснование своих цепей. На власть они смотрели снизу. Отсюда нерешительность 14-го декабря, имевшая, конечно, и другие причины. "Узок был круг этих революционеров, страшно далеки были они от народа". Они отделялись от народа не только способом жизни и одеждой, но прежде всего языком. Пушкин, как и многие его друзья, был двуязычен. В некоторых обстоятельствах удобнее было говорить по-русски, но в большинстве житейских ситуаций французский язык оказывался проще. Конечно, язык этот представлял собой естественную принадлежность светской жизни, которая и пришла в Россию вместе с ним; это был язык романов и нежной страсти, приспособленный для выражения чувств и настроений, недавно появившихся в русской жизни, коим нередко просто не было названия в русском языке. Сплошь и рядом русского языка не хватало даже для выражения менее деликатных понятий повседневного быта, и убеждение в бедности его мешало этим полуфранцузам использовать и наличные его средства. В одном из писем жене Пушкину случилось упомянуть о каком-то купце, торговавшем крупами; письмо было по-русски, но о купце он объясняет по-французски, потому что не уверен в переводе. Грибоедов обличает устами Чацкого засилье чужого языка, но не следует принимать это слишком всерьез: учителем языка оставался памятный французик из Бордо.

Народ их не понимал. На Сенатской площади солдат подучили кричать: "Ура, Константин!" и "Ура, конституция!": уверяют, что солдаты считали Конституцию женой Константина. Если это не правда, то хорошо придумано. Во всяком случае, народ мог быть лишь объектом, а не субъектом революционного плана — использовать его можно было, лишь обманув. Понимали это все, но один Пестель был настолько бессовестен, чтобы о таких вещах говорить. Нерешительность декабристов объяснялась также и тем, что они должны были вести своих солдат против власти, занимавшей в душе этих простых людей второе место после бога, а это можно было сделать, лишь противопоставив одного царя другому и обманув, таким образом, монархическую лояльность. В самом замысле восстания был обман. И здесь как раз лучшие достоинства декабристов

стали на пути к успеху: надувательство, лежащее в основе всех дворцовых переворотов, было им не по душе.

Декабристов объединял общий психический склад — инфантильность. Это были избалованные дети. Некоторые из них ушли на войну 15-16 лет, едва выйдя из рук гувернеров; почти все отличились в боях с прославленной армией Наполеона. На первый взгляд, это было редкое в истории сообщество героев. И вот, эти герои не только самым смехотворным образом спасовали на Сенатской площади, но потом, уже под следствием, почти все выдавали друг друга. Как видно из дела декабристов (и из собственных горестных воспоминаний), все они, за исключением двух-трех, давали показания на товарищей, оговаривая также не известных начальству сообщников, оставшихся на свободе. Этот капитальный факт обычно скрывают от читателей, выдавая им некую стилизованную композицию на пушкинские темы. Вряд ли надо объяснять, что опущение этого факта из истории рассматриваемой эпохи никоим образом не случайно, и если уж такой факт опускается, то о каком-либо *понимании* этой истории не может быть и речи! Герои, рыцари, ежеминутно готовые жертвовать жизнью в бою или на дуэли во имя химерических понятий о чести, — запертые в каземат, вдруг превращаются в кающихся простаков и жалких доносчиков! Если есть что-нибудь, без чего никак не может быть понята история пушкинской эпохи, — это следственное дело декабристов.

Чтобы объяснить этот факт, нам придется задуматься о том, что такое храбрость. Массы людей рискуют жизнью на войне: идут в атаку под огнем, остаются под обстрелом в окопах. В большинстве эти люди ведут себя достойно, соблюдая приличия перед лицом смерти; но затем уцелевшие возвращаются с войны, увешанные орденами, и оказываются обыкновенными людьми. Глядя на их повседневное поведение, трудно поверить, что они совершили приписываемые им подвиги. По-видимому, понятие мужества не так просто. Его нельзя измерить абсолютной величиной перенесенной опасности: надо знать еще, в каких обстоятельствах это произошло. Вполне возможно, что в других условиях тот же человек окажется трусом. Никто не станет теперь отделять психическую жизнь человека от ее физиоло-

гической основы; известно, что один и тот же человек, в зависимости от состояния тела, может без вреда перенести сильный электрический ток, а от слабого погибнуть.

Воинская доблесть, и точно также храбрость на дуэли проявляется всегда на людях, стимулируемая специфическим, воспитанным с детства стремлением не уронить свое достоинство перед людьми. Это, если можно так выразиться, храбрость коллективного человека, нуждающаяся в соучастниках и зрителях, храбрость вместе с другими. На этот счет есть пронизательные замечания Ларошфуко, оставшиеся от времени, когда воинская доблесть встречалась в более чистом виде и привлекала больший интерес. Далее, воинская доблесть не требует обычно продолжительных нервных усилий. Сильное напряжение атаки сменяется отдыхом бивуака или изнурительным, но безопасным маршем, эффективно снимающим нервный шок. Война происходит под открытым небом, чаще всего при свете дня: известное место у Гомера свидетельствует, насколько это было важно для воинов всех времен. И во все времена мальчишки были храбры на войне. С точки зрения психологии, война и есть занятие мальчишек, недостойное зрелого человека: войны станут ненужными и смешными, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся".

Иное дело — мужество в каземате. Это мужество незаметное, мужество в одиночку. Решающие события этой драмы происходят не на допросах, а в четырех стенах одиночной камеры, наедине с собственной судьбой. Я не утверждаю, что стойкость заключенного *и есть* мужество зрелого человека, но, безусловно, такая стойкость *предполагает* зрелую личность. Конечно, здесь важны и другие особенности личности. Чтобы вынести одиночество, нужна способность к сосредоточению, лучшей школой которого является труд. Труд приучает человека быть наедине со своим делом, а не вместе с другими людьми. Но физический труд предполагает предмет этого труда, внешнюю обстановку. Отнимите этот предмет, измените обстановку — и человек физического труда потеряет почву под ногами, потому что ему нечем занять свой ум. Лучше всего подготавливает к одиночному заключению серьезный умственный труд, то есть одинокое размышление. Размышление это может ка-

саться любых предметов — религиозных, философских или научных — и должно быть достаточно интенсивно, чтобы заслуживать имя труда. Таким образом, самые стойкие заключенные выходят из людей, живущих напряженной духовной жизнью: в тюремной камере они занимаются тем же, что и везде.

Молодые люди, о которых здесь идет речь, были очень далеки от такой концентрации духовных сил. Они вели рассеянный, светский образ жизни, проводя все время на людях. Очень немногие из них имели какие-нибудь умственные занятия. Некоторые были образованы, но регулярным умственным трудом не занимался никто — это была компания дилетантов. Взгляды их были заимствованы из политических учений Европы, изредка путем самостоятельного чтения, большею же частью из разговоров. Никто из них не испытывал физических лишений, и все были чужды физического труда. Наконец, почти все они были не просто молоды, но инфантильны. Сломить их было нетрудно: разбитые в открытом конфликте, декабристы опасности не представляли, и Николай мог бы проявить к ним милосердие. Он нашел бы в декабристах преданных слуг! Покаяние Кюхельбекера, близкого друга Пушкина, — истине потрясающий документ; он вовсе не хитрил, а калялся чистосердечно. Каземат мог изменить не только поведение, но и образ мыслей, если мысли эти принадлежали юношам столь непрочного душевного покроя. Правда о декабристах поучительна, но неприлична; документы опубликованы, но надо быть очень уж трудолюбивым читателем, чтобы эту правду узнать. Теперь и не хотят знать ее — как и правду о Пушкине, бывшем во всем, кроме таланта, *одним из них*.

Как всегда, декабристы интересуют нынешнего читателя теми чертами, в которых он находит сходство с собой. Они составляли изолированную группу, недовольную строем русской жизни. Они смотрели на Запад. Они несли в себе неистребимую печать рабства и были тесно связаны с системой, которую хотели сменить. Они были слабы и не верили в себя. Они были ребячливы и не годились для серьезного дела. Ясно, почему декабристы вызывают у нашего

современника, в пределах отпущенного ему темперамента, жгучий интерес.

Общественный фон, на котором мы можем видеть Пушкина, теперь достаточно обрисован. Чем же выделяется Пушкин на этом фоне? Нас интересует здесь не поэтический дар, а человеческая личность Александра Сергеевича, и мы хотим понять ее, исходя из предположения, что он был человек. При всей видимой банальности такого предположения, дается оно нелегко. Так называемый великий писатель не вызывает у нас привычных ассоциаций и соображений, какие вызывают одноклассники, сослуживцы или соперники в любовных делах. Несколько перефразируя историю царя Мидаса, можно сказать, что все, касающееся "великого писателя", тотчас превращается в миф. Но всякий человек, как бы ни был велик отпущенный ему природой специальный дар, подчиняется общим законам человеческой природы и должен быть судим по общим принципам, применяемым к нашим ближним. Пушкин сам посмеялся бы, если бы его поставили в позицию сверхчеловека, изъятую из общих этических норм; до такой глупости можно было додуматься лишь полвека спустя, на закате Европы.

Чем же отличался Пушкин от своих современников и друзей? Воспоминания лицеистов изображают его ребенком. Он был горяч и несдержан, мечтателен и ленив. Сам он объяснял эти свойства африканским происхождением, но это объяснение не имеет для нас обязательной силы. Воспитание его было из рук вон плохо, дома его учили, в сущности, только французскому языку. Если не считать понятия о чести в употребительном тогда смысле, он не вынес из детства твердых этических правил. Очень рано свел он знакомства с шаловливым Эротом, неизменным героем его юношеских стихов. Мы нашли бы его весьма испорченным мальчишкой и безусловно запретили бы нашим детям с ним играть. Нравы в Лицее были легкие, едва ли не главным занятием учеников было соревнование в амурных делах. Исходные позиции Пушкина в этом соревновании были незавидны: он был, кажется, меньше всех ростом, кривоног и отталкивающе некрасив. Одна из его лицейских кличек была "француз", по причине особенного знания языка; другая кличка менее известна, потому что

неловко о ней вспоминать: его звали обезьяной. Никакое признание, никакая слава не могут изгладить эти рубцы в подсознании; Адлер назвал такую деформацию личности комплексом неполноценности. Термин этот возник в начале двадцатого века, но само явление, да и понимание его окружающими людьми, старо, как мир. Мы знаем теперь, что комплексы, и даже невроты, составляют драгоценный источник всего значительного в человеке. Из нормальных, благополучных детей, без трудностей в общении и личных проблем, вырастают приятные, общительные средние граждане; это они придают устойчивость человеческому обществу, предохраняют его от крайностей и увлечений, тормозят на всех поворотах и воспроизводят основной фонд человеческого рода. Но все новое создают безумцы, одержимые каким-нибудь грызущим недугом. Хотелось бы, чтобы это открытие было ограничено или смягчено, но, во всяком случае, Пушкин не может нам в этом помочь. С детства он привык играть в обществе товарищей подчиненную роль, бессознательно преклоняясь перед высоким ростом, стройной фигурой, уверенностью и умением себя вести. Он трагически не умел держать себя с людьми, разыгрывал шута, балагурил, метался от петушиного гонора к неприличному искательству — короче, был несолиден и суетлив. Эти его свойства единодушно отмечали современники, не имевшие причины его щадить; о том же осторожно говорили друзья. И сам Пушкин, не умея с собой сладить, все это о себе знал: при всей его безалаберной жизни, он был еще и умный человек. Повторяя все те же глупости, он понимал свою слабость и приходил от нее в ужас:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Это не о человеке вообще, а о себе, каким он себя знал. В черновике было и продолжение, о праздности, неистовых пирах и безумстве губительной свободы. Мы плохо знаем тайны поэта: и в разговорах, и в стихах он говорил о них не больше, чем хотел сказать. Он охотно говорил о пустяках и ревниво хранил важные для себя вещи: их, собственно, и должны были скрыть все эти пустяки. Можно подозревать, что всем известные, прославленные страсти поэта тоже были прикрытием более серьезных переживаний, что он переживал и ту немую боль, которая не рождает стихов. Он был не только легкомыслен, но и глубок; вероятно, мы не знаем женщин, которых он глубже всего любил. В черновике говорится о двух, уже мертвых; в другом месте упоминаются "одна или две ночи" — не так уж много для его африканских страстей. В любви он был, конечно, несчастен.

Интимная история его жизни остается тайной, как он и хотел. Если разгадка ее вообще возможна, я к этому не чувствую призвания. Да это и не входит в мою задачу: Пушкин рассматривается здесь с точки зрения нашего современника и, следовательно, мне незачем касаться того, в чем он был чист и глубок. Любовная жизнь Пушкина интересует меня здесь лишь с одной стороны, которой избежать невозможно: речь идет о его жене. Брак Пушкина представлял собой очень известное явление, описанное психологами в наше время, а до того романистами во все времена: это был компенсирующий брак. Чтобы поддержать свое достоинство в глазах света и в собственных глазах, Пушкин обзавелся первой красавицей, какую мог найти на ярмарке невест. Мы не знаем, что именно толкнуло его на столь обыкновенный поступок, но характер этого брака не вызывает сомнений. Относительно Наталии Николаевны иллюзии были, казалось, невозможны: чтобы связать себя

с нею, Пушкин должен был себя попросту обмануть, и это ему удалось. Отзывы современников не оставляют нам ни малейшего способа представить ее чувствительной или интересной. Многие пытались как-то ее оправдать, но вряд ли Наталья Николаевна нуждается в оправдании, потому что не ведала, что творит. Все, кто ее знал, единодушно называют ее дурой, пользуясь более или менее вежливыми словами. Ее выдали замуж шестнадцати лет без какого-либо участия ее чувства, да и вообще не ясно, была ли она способна к каким-нибудь чувствам, кроме тщеславия. Все, что о ней известно, свидетельствует о дамских капризах и пустоте. Конечно, красота и связанное с нею восторженное внимание публики могли бы развратить и женщину поумнее, и она была в меру развращена; но и в этой умеренности не было заслуги, потому что природа создала ее холодной. После смерти Пушкина она вышла замуж за генерала; еще во время первого брака царь обратил на нее благосклонное внимание, и это внимание не могло ей не льстить.

Влюбиться в Наталью Николаевну мог, на некоторое время, любой смертный, но Пушкин захотел обмануться в ней на всю жизнь. Она могла доставить своему владельцу все удовольствия, связанные с обладанием единственной в своем роде вещью, но Пушкину надо было эту вещь одухотворить. Увы, она настолько не понимала его стихов, что пыталась сочинять свои! Слепление, с которым Пушкин принимал свою жену всерьез, не так уж редко встречается у самых умных людей: как говорит одна древняя пословица, все мы сделаны из одной муки. Из той же классической древности дошли до нас сведения о женщине, на которой женился Сократ.

Итак, Пушкину надо было ежедневно обманывать себя относительно жены: это было тяжкое бремя. Наталья Николаевна дорого стоила ему также и в денежном отношении. Она была расточительна, и от этого порока муж не мог ее отучить, да и сам он подавал дурной пример.

Мы переходим к самой важной части нашего предмета, ради которой и предпринята эта работа. Несчастье жизни Пушкина и причина интереса к нему нашей публики состоит в том, что он предал свои убеждения под угрозой тюрьмы и покорился власти, от которой зависело его общест-

венное положение и материальное благополучие. Это значит, что Пушкин был *политическим ренегатом*. Все сказанное выше должно было подготовить читателя к пониманию этой грустной правды. Чтобы поверить этой правде, надо рассмотреть великого человека так же прямо и беспристрастно, как мы позволяем себе видеть людей вокруг нас — как мы позволяем себе это в принципе, потому что даже не к великим, но сколько-нибудь нужным нам людям применять такой подход нелегко, а тем более к самим себе. Жизнь человека представляет собой, в лучшем случае, компромисс между некоторым идеалом и вполне определенной действительностью; мы уже знаем, какова была во время Пушкина русская действительность и как трудно было примирить с нею какой бы то ни было идеал. Белинскому показалось однажды, что примирение возможно, поскольку все разумное действительно, а все действительное разумно: так получалось у Гегеля, по крайней мере в передаче друга Мишеля Бакунина, читавшего все это в оригинале. У Пушкина такой возможности примирения не было — способность к самообману не достигала у него философских вершин, довольствуясь самым необходимым. Ему надо было обмануть себя по поводу жены и по поводу царя, но дальше этого прожиточного минимума он обмануть себя не мог. Да и самый необходимый, жизненно важный самообман совершался лишь наружным образом, в области сознания, а в глубине было ощущение лжи, с которым нельзя было жить.

Смолоду Пушкин был либералом, но в общество декабристов никогда не входил. Декабристы не брали его не потому, что хотели, якобы, уберечь, а потому что считали ненадежным. Зависело это от Пущина, одного из лучших людей Северного общества и близкого друга поэта, и Пущин решил его не брать. У Пушкина был неустойчивый характер. Переменчивость настроения, приступы безудержной веселости или отчаяния, склонность к бессмысленным выходкам можно, конечно, приписать невзыскательности Аполлона; но заговорщик знает, что священная жертва требуется от него каждый день.

В обществе декабристов Пушкин не состоял, и если еще принять во внимание, что в успех этого предприятия

он не верил, то могло бы показаться, что совесть его была чиста и упрекать ему себя было не в чем. Более того, по сравнению с большинством декабристов он вел себя достойно: никогда ни в чем не каялся, а на прямой вопрос царя, что бы он делал, будь он четырнадцатого декабря в Петербурге, смело ответил, что вышел бы на площадь. Мы знаем об этом ответе с его собственных слов, но в таком прямом смысле Пушкин не лгал, и ответ его можно принять на веру, наряду с другими бесспорными свидетельствами подчинения Александра Сергеевича дворянскому кодексу чести. Конечно, он *мог бы* выйти на площадь в решающий час, поставив свою жизнь на карту, как не раз делал это по менее важным причинам: в *дуэльном* мужестве Пушкину отказать нельзя. Таким образом, если уж дозволено сравнивать столь отдаленные на вид эпохи, Пушкин мог бы со спокойной совестью ответить на вопрос нашего современного певца, обращенный к не очень-то храбрым инакомыслящим собратьям: да, выйти на площадь он бы смог. Но *вышел ли бы он* на площадь, будь он в Петербурге четырнадцатого декабря? Не вышел же "диктатор" заговорщиков князь Трубецкой, а спрятался в австрийском посольстве; между тем, невозможно сомневаться в храбрости этого боевого офицера. Пушкин *знал* о готовящихся событиях и поехал уже в столицу, но повернул назад, испугавшись дурных примет: он встретил попа и двух зайцев. После всего, что было уже сказано о природе храбрости, мы не станем этому удивляться, а спросим себя, считал ли он себя *нравственно обязанным* выйти на площадь? Ведь он в обществе не состоял и в успех мятежа не верил, никаких формальных обязательств на себя не принимал, да и не нужен он был на площади, как не нужен был столь же штатский и еще менее воинственный Кюхельбекер.

Все это верно, но беда в том, что обязательства сплошь и рядом сваливаются на нас против нашей воли. Жизнь была бы очень уж проста, если бы мы должны были всего лишь выполнять сознательно заключенные контракты. В действительности нет ничего более обычного, более неизбежного, чем ответственность за чужие поступки, нелепые, ненужные, не одобренные нами поступки, ответственность, от которой нельзя уйти. Лучшие друзья Пушки-

на были декабристы; он участвовал в их беседах, знал их взгляды, и если, может быть, не соглашался с предлагаемыми средствами, то, конечно же, ему были близки их цели. Об интимности этих встреч свидетельствуют сохранившиеся отрывки десятой главы "Онегина": от Пушкина скрывали лишь "организацию", но не идеи. Собрания, где обнажался царубийственный кинжал, толпа дворян, в которых можно было предвидеть освободителей крестьян, — все это было его жизнью, он был с ними, он читал им свои стихи. Все это было естественно для него и, в снисходительное царствование Александра, не связывалось в его воображении с перспективой каземата. Он не знал их планов, но догадывался и обижался, что от него что-то скрывают. Таким образом, он с полным правом видел в них "друзей, братьев и товарищей", сокрушаясь об их каторжной судьбе. Судьба возложила на него ответственность, тяжкую ответственность за четырнадцатое декабря. Он был достаточно замешан и сам удивлялся, что уцелел:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!..
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Все это, конечно, стилизация: прежние гимны петь было нельзя, а надо было срочно заботиться о просушке риз. Грибоедов, замешанный не меньше, ухитрился выйти сухим из воды, сделал дипломатическую карьеру и мог бы стать, подобно Горчакову, министром; а впрочем, не

мог, и растерзан был, в некотором смысле, закономерно. Будь он настоящим дипломатом, он не накликал бы на себя смерть: кто знает, может быть, он хотел умереть в Тегеране?

Пушкин должен был оправдаться и оправдывался, как мог. Конечно, он говорил с царем *откровенно*, и откровенность эту ставил себе в заслугу. Конечно, он не назвал имен и ни на кого не донес: для этого, как мы знаем, требовался каземат. И не пришла ему в голову мысль, что откровенность с царем постыдна, потому что царь — политический враг. В таких терминах он никогда не мыслил и до такой четкости представлений до конца жизни не созрел. Сочувственно слушать речи заговорщиков, носившихся с планами цареубийства, а затем откровенничать с царем — было непоследовательно и стыдно; почему же Пушкин был откровенен? А потому, что без этого нельзя было избежать тюрьмы. Николай Павлович, как известно, придерживался патриархального взгляда на свою власть и требовал от подданных, чтобы с ним говорили, как с отцом; больше всего возмущало его *запирательство*, и всякая попытка уклониться от чистосердечного признания наказывалась беспощадно. Без откровенности не было никакой надежды смягчить свою участь, и Пушкин знал это не хуже других. Надо было, следовательно, представить себе ситуацию таким образом, чтобы откровенно говорить с царем было не стыдно. Здесь и пришла Пушкину на помощь, как и его друзьям-декабристам, дворянская концепция вассального долга. Поскольку откровенность была необходима и *подсознательно* заранее решена, надо было ее *сознательно* оправдать. Подсознательное решение спастись от тюрьмы было оправдано тем, что царь — первый дворянин России, естественный предводитель всех дворян, которому они обязаны верностью, согласно ввезенному с Запада кодексу чести. Отсюда уже следовало, что царя следует считать порядочным человеком: предполагалось, что откровенность не будет использована во вред говорящему или тому, кого он этой откровенностью оговорил. Последнее, впрочем, в случае Пушкина исключалось: царь не хотел ставить его в положение, из которого единственным выходом была бы тюрьма. Он удовольствовался тем чисто-

сердечием, на какое еще не сидящий в тюрьме Пушкин был способен. Получив требуемые свидетельства лояльности, царь вывел поэта к придворным и представил его многозначительной фразой: "Вот мой Пушкин". Вместо того, чтобы наказать Пушкина, Николай Павлович взял его на службу, привязав к себе неким неофициальным договором. Условия договора состояли в том, что царь берет поэта под свое покровительство, становится цензором его сочинений и разрешает обращаться к себе по разным делам. Преимущество было в том, чтобы иметь дело не с чиновниками, а прямо с царем; это преимущество Пушкин, по свойственной ему непрактичности, переоценил. Царь поручил опеку над поэтом шефу жандармов, что было весьма неделикатно: личные отношения с царем, и так уже носившие характер сомнительной сделки, заменены были принудительными отношениями с начальником политического сыска. Понимал ли царь, что делает, передавая русскую поэзию в ведение органов государственной безопасности? Вряд ли: Николай Павлович поэзией не интересовался и вообще был достаточно примитивен. Ему нужен был надежный человек, кому можно было бы передоверить Пушкина, чтобы не читать самому его стихи и не контролировать его лояльность, — а кто же мог быть надежнее Бенкендорфа? Возможно, царь полагал даже, что оказывает Пушкину честь и, во всяком случае, не думал его унижить: для царя жандармское ведомство было учреждением почтенным.

Пушкин, конечно, так думать не мог. Политический сыск и чувство чести были для него несовместимы, как и для всего круга людей, среди которых он жил. Об этом круге мы поговорим еще дальше. Во всяком случае, слово, данное царю, приходилось держать, и в переписке поэта шеф жандармов занимает, если не ошибаюсь, второе место после жены, хотя где-то читал, что третье; точный подсчет все равно не даст нам от этого уйти.

Нетрудно представить, что переживал Пушкин в эти годы. Надо только отделаться от пиетета перед его гением, мешающего разглядеть человека. Чтобы соблюсти договор с царем, нужен был трудный самообман. Надо было поддерживать в себе невозможный образ Николая, питать его любыми иллюзиями, оберегать от любых размышлений. Но

нельзя было обмануть себя в отношении царя, не оправдывая и не возвышая его престол. Для этого надо было оправдать самодержавие, порвав со всем, что было дорого раньше, с молодостью, с друзьями, даже с детством, потому что до четырнадцатого декабря все было вольнодумством, произволом бунтующей личности, *самоволием*, в том смысле, как его осудил впоследствии Достоевский, — по той же причине. Конечно, слишком прямое объяснение эволюции зрелого Пушкина не может не вызвать сопротивления. Мы не любим, когда бытие определяет наше сознание и, во всяком случае, нам хотелось бы, чтобы эта обыкновенная история не случалась с великими людьми, которых мы чтим. К счастью, бытие не всегда определяет сознание так бесстыдно, как это представлял себе Карл Маркс. Можно даже утверждать, что в интересующем нас случае причина и следствие находились как раз в обратном отношении. Если молодой Пушкин еще до четырнадцатого декабря так ясно понимал безнадежную инертность России, то приходится ли удивляться, что он со временем и вовсе поправел?

Трудно сказать, как сложились бы взгляды Пушкина, если бы не было четырнадцатого декабря. С легкой руки Достоевского принято считать его мудрецом. Конечно, он был мудр, сочиняя стихи; но был ли он мудр в обычном человеческом смысле, вне своей поэтической стихии? Биографии выдающихся писателей учат нас отвечать на этот вопрос осторожно. Во всяком случае, Пушкин не был последователен в своих мнениях, как и в своей повседневной жизни. В южной ссылке он был легкомысленным либералом. Вряд ли можно принять всерьез повредившее ему письмо, где он похвывается, что берет у некоего англичанина уроки чистого атеизма. *Нечистым* атеизмом полна была вся обстановка его детства: легкому отношению к священным предметам он научился у Вольтера и Парни. Барское свободомыслие не препятствовало, впрочем, барскому суеверию, и вольтерьянство не мешало ему вспоминать о православии, когда что-нибудь мешало грешить. Я понимаю, что грех является необходимым условием покаяния и смирения, и не стану придирааться к диалектике всех бывших на свете религий. Но мне больше нравится, если

уж на то пошло, религия Паскаля, с бесповоротным душевным кризисом и отчаянным бегством от греха. По-человечески можно понять и дамскую веру, с покаянием при болезни ребенка, как это изобразил Стендаль. Такова была вера Пушкина: она была непрочна.

Мудрость Пушкина, так удивительно проявившаяся в "Сеятеле", была ограничена обстоятельствами места и времени. Шестисотлетнее дворянство казалось ему более важным, чем многим просвещенным людям той эпохи, и он способен был препираться о нем с журнальной братией, не давая, впрочем, в обиду и арапа. Конечно, он любил свободу и, казалось, восхищался действием современных политических механизмов:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.

На поверку, однако, обнаруживается, что мотивы пламенного натиска и сурового отпора ему не очень понятны:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

Вместо этих прав он предлагает ребяческое понимание независимой жизни, отождествляемой с невмешательством в общественные дела. Мудрецы любого общества, прочно сидящего в рабстве, усиленно рекомендуют обходить политику стороной: к чему рабу заниматься делами, на которые он все равно не может влиять? Иное понятие было у древних греков: гражданин, равнодушный к общественным делам и, тем самым, к собственной судьбе, считался у них неполноценным и обозначался специальным термином "идиот". Таков первоначальный смысл этого слова. Он прямо относится к обсуждаемому предмету: нынешние пушкини-

сты и их публика, в указанном смысле, убежденные идиоты, и Пушкин должен их в этом оправдать.

Либеральные убеждения Пушкина были непрочны. Мудрость его могла нечувствительно перейти в консерватизм. В конце концов, благосостояние стада находится в руках тех, кто поставлен "резать или стричь", и единственный способ облегчить участь животных состоит, с этой точки зрения, в деликатном убеждении пастырей: надо уговаривать их, чтобы стригли справедливо, а резали только в случае крайней нужды. Отсюда вполне естественно могли возникнуть иллюзии небом избранного певца, который должен быть приближен к престолу. Возможно, так и случилось бы — если бы не было четырнадцатого декабря.

Но четырнадцатое декабря было. Консервативная тенденция и тенденция к самосохранению неотделимо срослись. Так могло случиться, конечно, и при самом мирном развитии событий, но тогда параллельное развитие обеих тенденций легче было бы скрыть — от себя и от других. Четырнадцатое декабря было, и скрыть происшедшее было нельзя. Психические процессы перерождения и адаптации требуют времени. Капля точит камень, и самые прочные характеры незаметно гнутся под грузом бытия. Но внезапные перемены подобны удару, а удар — ломает. Надо было образумиться срочно, обрести солидность в одну ночь, примириться с действительностью на виду у себя и других — или идти в тюрьму. Пушкин такой нагрузки не выдержал: он сломался.

Рукописи поэта воспроизводятся с рисунками на полях. После казни декабристов Пушкин стал рисовать на полях повешенных. От этого нельзя было уйти. Можно было обмануть себя, сочиняя программные стихи, выполняя социальный заказ. Можно было внушать себе, что он не лстец, когда царю хвалу свободную слагает; можно было проводить сомнительную аналогию между Николаем и Петром, поскольку начало славных дней Петра тоже мрачили мятежи и казни. Можно было не замечать, что царь своему пращуру не подобен, забывать даже в порыве энтузиазма, что царь, по известной поэту скандальной хронике, вовсе не имел предком Петра. Не так уж важно, что из этого Пушкин *сознательно* понимал: подсознательно он при-

нимался рисовать виселицы, и *это* было в самом деле важно.

В Пушкине жило ощущение совершенного предательства. Примерно за год до смерти он написал потрясающее стихотворение, дающее ключ к пониманию всей зрелой жизни поэта. Иносказание очень прозрачно. Вдумайтесь в эти стихи: они важнее всего, что Пушкин написал о себе.

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросив щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился,
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов.
Давайте чаши. Не жалея
Ни вин моих, ни ароматов.
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф, хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

Вряд ли можно выразить это яснее и безжалостнее. Прекрасные стихи повествуют здесь об очень обыкновенных, очень печальных вещах, известных многим из нас по собственному опыту; но мы не смеем перенести этот наш опыт на великого поэта, и остается лишь переместить неприятную историю в древний Рим.

Пушкин внутренне ощущал свое предательство, свою постыдную зависимость, и потому не знал покоя. Память его была беспощадна; впрочем, то, чего он не мог забыть, ему ежедневно напоминали. Вокруг него было "общество", та светская чернь, на которую он так злился, но без которой не мог жить. Он не был одиноким мечтателем, не был аскетом: он нуждался в людях, жил на людях и был чувствителен к людской молве. Эта его чувствительность, пожалуй, менее всего согласуется с навязываемым нам обликом Пушкина-мудреца. Периоды творческого запоя не ослабляли в нем этой жажды общения. С кем же ему пришлось общаться?

Светское общество испытало ту же эволюцию, что и сам поэт. В начале царствования Александра либеральничали почти все: без этого не могло быть ни хорошего тона, ни карьеры. Во время "оттепели" даже Бенкендорф и Дубельт ходили в либералах, но такие конъюнктурные либералы не представляют для нас интереса. Интереснее те, кто и в самом деле испытывал либеральные чувства, а потом, по настоятельным требованиям жизни, должен был эти чувства предать. "Предательство" часто связывается в нашем представлении с чем-то театрально-злодейским, демонстративно-гнусливым: предать — значит, поступить, как Иуда, публично принять тридцать сребренников, потом при всех швырнуть их наземь, потом повеситься на осине. В жизни так бывает редко. Тридцать сребренников дают обыкновенно на государственной службе, и главная забота состоит обычно не в получении нарочитого вознаграждения, а в том, чтобы эти регулярно поступающие сребренники сохранить. Самое же главное — безопасность. Либеральная атмосфера первых лет царствования Александра постепенно сменилась "реакцией", сентиментальной религиозностью царя, подозрительностью к новшествам или, что еще хуже, новшествами вроде аракеевских военных поселений. Как

всегда бывает в таких случаях, надвигавшийся аракчеевский режим автоматически деформировал позиции рядовых людей: бытие определяло их сознание ежедневно и совсем просто. У людей менее заурядных такого машинального соответствия не было. Царь мог отказаться от своих юношеских мечтаний, и подавляющая часть "общества" мирно эволюционировала вместе с ним; но иные упирались. Проникнувшись однажды либеральными идеями, они не способны были расстаться с ними, когда с ними расстался царь. Пушкин был среди тех, кто не желал меняться вместе с царем. Хотя он был скептик, не веривший в успех этих идей на Руси, идеи эти сами по себе были ему все еще близки: человеческое достоинство, законный порядок, свобода от канцелярского произвола, даже постепенное освобождение крестьян, в общем, все, о чем мечтали декабристы более умеренного толка, — все это оставалось частью его душевного склада, и расстаться со всем этим он, подобно декабристам, не мог. Как всегда бывает, покорно меняющееся общество не прощает таким упрямятам: оно им завидует и, при первой возможности, мстит. Те, кто претендует быть лучше других, какое-то время могут вызвать восхищение, но всегда должны за это расплачиваться.

Они платят за это своей жизнью — или своей честью. Если они выбирают упрямяство и "в час ужасной битвы", их ждет виселица или каторжные норы, куда не доходит глас молвы; да и что за дело каторжнику до разговоров в гостиных? Иначе складывается судьба тех, кто в этот час ужасной битвы смиряется, наконец, с силой обстоятельств и бежит, нечестно бросив щит: запоздалое благоразумие может спасти их от мщения победителей, но не от злословия людей. Им никогда не простят те, кто проявил благоразумие раньше, не простят потому, что не могут простить себе. Подлинный козел отпущения — это предатель последнего часа: ему приходится расплачиваться не только за собственную трусость, но и за трусость всех других. "Ты корчил из себя нечто лучшее, — говорят ему каждым жестом, — и вот оказался таким же, как все". То же можно выразить и научно. Подсознательное презрение к себе находит внешний объект, переносится на него, и этим снимается чувство вины.

Таково было отношение к Пушкину "светской черни". Конечно, все это делалось тонко, но и он был достаточно утончен. Делалось это так, что не к чему было придираться. Говорили, что Пушкин пустой, взбалмошный, ненадежный человек, и он узнавал, что о нем говорили; и прежде он был чувствителен к молве, теперь же каждое слово приобрело для него злобещий смысл. Теперь он *знал* о себе, что он пуст и ненадежен. Час ужасной битвы прошел, он был взвешен и найден слишком легким. Он был чувствителен и умел страдать, потому что он был поэт.

Презрение общества — не единственная казнь ренегата. Столь же тяжко казнит его презрение той власти, которой он подрядился служить. Перебежчиков используют, но не любят. И Пушкину пришлось испытать до дна презрение тех, кого он силился уважать. Прежде всего, его презирал царь. Не ясно, понимал ли Николай Павлович значение Пушкина для России. Мне кажется, версия, будто царь хотел сделать из Пушкина казенного поэта, преувеличена или вообще неверна. Вряд ли царь понимал, что Пушкин — более значительный поэт, чем Кукольник или Бенедиктов. Пушкин был популярен, а это уже был политический факт: может быть, стоило сделать жест, чтобы иметь популярного писателя на своей стороне. Но, конечно, Николай Павлович Пушкина не уважал. Он считал его, как и все, взбалмошным и пустым человеком. И менее, чем кто-либо иной, это свое мнение скрывал.

Конечно, Бенкендорф относился к Пушкину так же, как царь. Один эпизод биографии Пушкина поразительным образом демонстрирует унижение, в котором жил поэт. Когда Пушкин надумал жениться, родители Натальи Николаевны потребовали от него, среди прочих вещей, официальный документ, подтверждающий его политическую благонадежность. Требование это в те времена вовсе не было обычно; оно вызвало бы удивление даже в наши дни. При любом понимании чести вряд ли можно найти худшее унижение, чем просить у начальства характеристику для вступления в брак. Но Пушкин хотел жениться — и попросил у Бенкендорфа рекомендацию. Граф прислал ему письмо, брезгливо-презрительное письмо бывшего либерала, прекрасно понимавшего, что все это значит для чувствитель-

ной души поэта. Бенкендорф выражает удивление, что ему снова приходится возвращаться к исчерпанному вопросу, поскольку Пушкин давно знает, что его благонадежность не вызывает сомнений.

Было и другое унижение, которое все время возвращалось. Пушкин всю жизнь нуждался в деньгах и постоянно влезал в долги. История его денежных дел свидетельствует о нем не с лучшей стороны. Я вовсе не думаю, что умеренность и бережливость украшают биографию поэта, и удивляюсь, обнаруживая столь прозаические черты у некоторых из них. И я не обвиняю Пушкина в том, что он расточал труд своих крепостных крестьян. Это не имело для него *нравственного* значения. Можно простить ему и карточную игру: в конце концов, он был не такой уж записной страдалец за мужицкую долю и, в отличие от Некрасова, пользовался лишь трудом мужиков, а не сочувствием к их труду. Беда была в том, что его карточные долги выплачивал царь. Когда его денежные дела заходили в тупик, он не стеснялся просить денег у царя; просьбы эти шли через Бенкендорфа, и денежная зависимость прибавлялась ко всем другим. Пушкин тяжело страдал, но потом снова просил. Конечно, все это не укрепляло репутацию поэта в весьма расчетливом обществе, где ему приходилось жить. Душевное состояние его было угнетено тем, что он снова и снова продается царю.

Перейдем теперь к последнему акту пушкинской драмы и постараемся понять, что вызвало его дуэль и смерть. Внимание света сопровождало каждый его шаг, и внимание это, как мы уже видели, не было лестным. Последним унижением поэта была сплетня, опутавшая его жену. Мы уже знаем, почему Пушкину не могли простить его зависимость от царя: "общество" мстило ему за собственное рабство, за ту же зависимость, которую он долго не хотел за собой признать. Был еще один вид зависимости, худший из всех, составлявший в светском Петербурге общую тайну и общий позор. Дело в том, что царь превратил этот светский мирок, где все жили на виду у всех и все знали друг друга, в свой гарем. Обычай этот, засвидетельствованный рядом достоверных историй, хотелось бы назвать возрождением татарских нравов, но татары считали своей собственностью

лишь женщин завоеванных стран, и вряд ли даже татарские ханы имели право на жен своих приближенных. Послушаем, что рассказывает об этом иностранный путешественник, маркиз де Кюстин. Маркиз приехал в Россию в 1839 году; он был убежденный монархист, внук гильотинированного аристократа. Недовольный либеральным режимом Луи-Филиппа, он искал в России свой феодальный идеал. Маркиз был умен и честен: он уехал из России либералом и написал о ней книгу, объясняющую, почему переменялись его взгляды. Необычная позиция, с которой он приступил к изучению России, снискала ему благоволение царя и открыла перед ним все двери. Впрочем, общение с иностранцами было тогда несравненно свободнее, чем теперь. Все европейские аристократы чувствовали себя единой семьей, и русским барам было лестно принадлежать к этой семье. Маркиз легко освоился в Петербурге, как и все иностранцы, владевшие французским языком. Его занимали не столько учреждения, сколько обычаи и нравы; он видел уже много других стран, был интересным собеседником и вскоре приобрел доверие своих новых знакомых. Одна особенность русских нравов его поразила. Оказалось, что прекрасные дамы, украшавшие высший свет северной столицы, рассматривали своего монарха как существо высшего порядка и служили его прихотям столь же естественно и непринужденно, как их отцы и мужья. Конечно, такие явления не составляли редкости и на родине маркиза: обаяние власти доставляло всякому королю больший успех у женщин, чем если бы он был простым смертным. Но, как и всякий мужчина, король должен был добиваться благосклонности избранной им дамы, применяя дозволенные обычаями средства, и рисковал получить отказ. Европейские нравы, возникшие из традиций античного мира и, еще более, германских племен, резко отличались в этом смысле от нравов Востока: в Европе женщина никогда не рассматривалась как простая собственность, а монарх не считался прямым собственником всего, что есть в его стране. Маркиз был крайне удивлен, обнаружив у европейски утонченных дам Петербурга чисто восточный взгляд на своего царя. Женщины, занимавшие царя больше других, получали звание фрейлин, и это было такой же придворной службой,

как всякая другая: характер обязанностей подразумевался и не вызывал у мужей особенных эмоций. Самое удивительное было, что царь не встречал отказа — таких случаев просто не знали. Маркиз не постеснялся прямо спросить одну из своих знакомых, как поступила бы она, если бы царь проявил к ней интерес. Дама ответила ему с некоторым смущением, что поступила бы, как все, и дала понять, что была бы весьма польщена.

Эта черта великосветских нравов хорошо известна историкам пушкинской эпохи, но они не любят о ней вспоминать. Конечно, нравы эти были свойственны лишь женщинам известного круга и даже в этом круге заметно изменились после Крымской войны. И все же, нельзя правильно представить себе окружавший Пушкина высший свет, упустив из виду одну из его главных функций: это был, между прочим, царский гарем.

Царь обратил внимание на жену Пушкина вскоре после его брака; внимание это он проявлял демонстративно, нарочно проезжая мимо ее дома. Все знали, что это значит и к чему это ведет. Знал это, прежде всех, Пушкин, и хотя он знал это очень хорошо, окружающие давали ему это понять. Смысл этих намеков был тот, что он продал царю свое перо, а теперь должен служить ему и своей женой. Нельзя сомневаться в удовольствии, которое высший свет извлекал из такого положения вещей. Известный своей гордостью поэт, долго уклонявшийся от рабских повинностей своей среды, должен был теперь нести постельную повинность, подобно всем.

Должен сознаться, что прямое и точное описание этой истории вызывает у меня такое же сопротивление, как у всякого, кому это доведется читать. Но прямое и точное описание — самый приличный выход из таких положений. Гораздо хуже язык недомолвок, к которому обычно прибегают пушкинисты. Нам объясняют, что известный пасквиль, послуживший поводом к дуэли, содержал намек на царя; такие же намеки находят и в яростном письме поэта шефу жандармов, и во многих свидетельствах современников, по очевидным причинам не слишком прямых. Много было сказано о бессильной ярости Пушкина, несоизмеренной с личностью и ролью Дантеса. Давно подозревают,

что этот злополучный Дантес был скорее всего козлом отпущения, на котором Пушкин хотел сорвать свой гнев. Вся эта игра намеков должна вызвать у читателя представление о чем-то загадочном, связывавшем жену Пушкина с царем. Между тем, здесь нет никакой загадки. Достаточно рассмотреть эту историю на фоне обычных в то время нравов. Царь не торопился: повелитель был скорее тщеславен, чем страстен, и при жизни мужа Наталья Николаевна, без сомнения, была ему верна. Вряд ли можно сомневаться в том, что было после его смерти. Внимание царя к пушкинской семье, щедрая денежная помощь, все это не относилось к памяти поэта, которого царь презирал, как мальчишку. Николай Павлович был равнодушен к мужу, его занимала жена. Популярность Пушкина, вызвавшая у царя даже некоторое полицейское беспокойство, доставила для этой операции удобный предлог.

Я попытался описать Пушкина как человека, жившего среди людей. Он начал с либеральных увлечений, кончил трезвостью казенной службы. Он предал свои мечты и перешел на сторону власти в решительный час. Он жил в унижении и страхе. Он боялся того, чем был и чем стал. Он мог бы прожить — со всем этим — долгую жизнь, но не мог уйти от правды, потому что был поэт.

ЛИТЕРАТУРА

И ИСКУССТВО

Сергей Довлатов

ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После конференции в Лос-Анджелесе

*...А значит никто никого не обидел,
и литература продолжается...*

М.Зощенко

МНОЙ ОВЛАДЕЛО БЕСПОКОЙСТВО

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. А я по его настоянию — был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю — тем более... Потом начались загадочные разговоры:

— Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря... Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы...

— Скандал? — говорю.

— Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации...

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе.

В мае 1981 г. в Лос-Анджелесе проходила международная конференция "Русская литература в эмиграции: Третья волна".

Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом...

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел...

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или наоборот — Пентагоном. Как водится...

Я решил — поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР, ИЛИ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала "Время и мы"

Перельман — человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка...

Я спросил Перельмана:

— Как у вас с языком?

— Неплохо, — отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал "Время и мы"...

В Лос-Анджелесе нас поджидал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

— Лос-Анджелес из э биг сити?

— Ес, сэр, — находчиво реагировал молодой человек. Во дает! — завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос:

— Калифорния из э биг стейт?

— Ес, сэр, — не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

— Америка из э биг кантри? — спросил Перельман.

— Ес, сэр, — ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

ДЕЛО СИНЯВСКОГО

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях.

И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички...

Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли... Ему хорошо...

Говорят, его жена большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

— Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше никому...

Короче, мне она понравилась. Разумеется, у нее есть что-то мужское в характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь — загрызут.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

— Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось странным и непонятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский...



Андрей Синявский

ДЕЗЕРТИР ЛИМОНОВ

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова. Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

”...Господин, который не желает быть русским писателем...”

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!

Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе — и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

— Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

— Да и черт с ним!..

И даже не расстрелял академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто "русский писатель" — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегающий этим званием — сатана и монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

— Я — русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой...

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.



И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова. И Даниил Гранин – еврей. И мерзавец Чаковский еврей...

Допустим, в рассказах Бабеля фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса – марсиане. В рассказах Сеттона-Томпсона – орлы, лисицы и бараны... Разве Уэллс – марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший – это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским – малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию – значит, изменник. Не стоит так горячиться...

Лимонов – талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонова – прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был Луи Фердинанд Селин. Кажется еще жив великий Уильям Берроуз...

Лимонов не превзошел Генри Миллера. (А кто превзошел?)

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова – Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба – талантливые представители "черного" жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным...

Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант – большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес, главным образом, у родни...

СТАРИК КОРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

— Главное — не обижайте Коржавина!

— Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю его публицистику. Мне импонирует его прямота...

— Коржавин — человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.

— Почему же именно меня?

— Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.

— Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите...

— Если Коржавин вас обидит, не реагируйте. Потому что Коржавин — ранимый.

— Позвольте, но я тоже ранимый! И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!

— Коржавин — особенно! Так что не реагируйте...

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов.

Он сказал:

— Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бобышев — талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Нам* тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

— Была в старину такая газета — "Копейка". Однажды ее редактора Пастухова спросили: "Какого направления придерживается ваша газета?" Пастухов ответил: "Кормимся, батюшка, кормимся..."

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать.

* Газете "Новый Американец", которую редактировал С. Довлатов.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Нема извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нему. Нема извиняется так: "Ты, конечно, извини. Но все же ты — говно!"

Коржавин минуту безмолствовал. Затем нахмурился и выговорил:

— Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал...

В ОКОПАХ "КОНТИНЕНТА", ИЛИ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Гражданская биография Виктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее, вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия — прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это — будучи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан...

На конференции он был представлен в двух лицах. (Слово "ипостаси" — ненавижу!) Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые "легкомысленные" очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности...



Виктор Некрасов

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию "Континента". Формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов — свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно он и читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво представляет на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями. (Виктор Платонович так себя и называет "облезлый голубь мира".)

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

”Континент” — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидеться с друзьями. Обнять того же Нему Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло — Цветков, Лимонов, Боков.

— Почему ”Континент” искажил стихи Цветкова?

— Почему Горбаневская обругала Лимонова?

— Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов...

Я не говорю, что журнал Максимова — вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова — несостоятельны. Я сам имею претензии к Максиму. Все правильно... Я только хочу спросить — причем здесь Некрасов?

Да еще — втроем на одного. Да еще — такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться — это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большим скандалом...

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас...

КУМИРЫ НАШЕЙ ЮНОСТИ

После конференции я давал Гладилину интервью для ”Либерти”. Гладилин спросил:

— Что вас особенно поразило?

Я ответил:

— Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.

Аксенов
и
Гладилин
были кумирами
нашей юности.
Их герои были
нашими
сверстниками.
Я сам был
немного
Виктором
Подгурским.
С тенденцией
к
звездным
маршрутам...
Мы
и жить-то
старались
похожим
образом.
Ездили
в
Таллин,
увлекались
джазом...



Василий Аксенов

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский... Наконец, Солженицын... Но это уже касалось взрослых людей. Синявский был недосыгаем. Солженицын — тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменялись. Гладилина увлекают сатирические фантазмагии. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры...

Юность неповторима... Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо...

Нам было хорошо.

ТРУСЦОЙ ПРОТИВ ВЕТРА

Александр Янов — давний оппонент Солженицына. Солженицын два раза обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он — учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегаёт трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане "Моне"...

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема.

Солженицын отсутствовал.

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее — единственным ощущением. А именно:

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым — невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын — русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов — добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропась между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

— Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

— Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост — шесть футов и четыре дюйма...

Оба правы. Хоть и говорят на разных языках...

Ромашка, например, для крестьянина — сорняк, а для влюбленного — талмуд.

Солженицын — гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу.

Янов — блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу...

Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще — после банкета в ресторане "Моне"...

СВЯЩЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК

В ходе конференции определились три дискуссионных поля.

1. "Континент" и другие печатные органы.

2. Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.

3. Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царила невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу — бессмысленно. Слава Богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Читатели оценят, вникнут, разберутся...

Мотивы второго дискуссионного тура — из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блистали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий...

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?!

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как туняец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин...

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!..

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой. Да и Лимонов не последний человек...

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову за шестьдесят, и работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти — модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.
Мне кажется, так и должно быть.

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная,
фантазмагорическая путаница!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Вероятно, я должен закончить примерно так:

В ходе конференции появилось ощущение литературной среды. Чувство многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях...

Так и закончу.

Прощай Калифорния! Прощай город ангелов, хотя ангелов я что-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай... Я чуть не сказал — прощай, литература!
Sorry. Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет...

(рисунки автора)



О КРИТИКЕ

Я не собираюсь делать какой-то основополагающий доклад, во-первых, потому, что у меня нет никаких основополагающих идей, да и не уверен я, что такие основополагающие идеи нам нужны. Скорее всего, это будет "приглашение к танцу", завязка общего разговора, в котором я хотел бы высказать, может быть, субъективные, во многом спорные и горькие, неприятные вещи. Я буду говорить о литературной критике, а именно, о критике — в плане соотношения и взаимодействия двух литератур: литературы советской, с одной стороны, и, с другой, — литературы эмигрантской или диссидентской. Я буду делать это с упором на наши эмигрантские беды и болезни.

Заранее оговорюсь: как и многие другие, я придерживаюсь точки зрения, что при всех исторических разрывах и разобщениях русская литература едина, и понятием "двух литератур" я пользуюсь в основном ради терминологического удобства. "Вторая литература", порвавшая с официальной идеологией и выехавшая частично на Запад, если не авторами, то текстами, это, вероятно, самое значительное событие в русском литературном развитии нашего времени. Помимо собственных успехов "второй литературы", которых я не буду касаться, она своим появлением поставила своего рода альтернативы и перед отдельными авторами, и перед литературой в целом, и даже в какой-то мере

Выступление на конференции в Лос-Анджелесе.

перед советским государством. Вместе с ее возникновением — у писателя в Советском Союзе появилась возможность выбирать и быть самим собой, и не только работая в стол, для себя или для потомства, но выходя уже сегодня на холодный ветер истории. Правда, писатель при этом кое-чем рискует. Но литература вообще дело рискованное.

Соответственно, поколебался закон партийности литературы, который на новом этапе, может быть, наиболее четко сформулировал Хрущев, обратившись к творческой интеллигенции, как к своим гостям обращается суровый хозяин: *"Ешь пирог с грибами — держи язык за зубами"*. И хотя этот закон и этот пирог продолжают успешно действовать, все же появилась опасность, что часть гостей, к стыду хозяина, при его словах разбежится. И хозяин-государство вынужден с этим считаться и, нисколько не меняясь по своей сути, вести более скрытую и гибкую игру в советскую литературу. Кого-то и на порог не пускать, кого-то выгонять пинками из-за стола, а на каких-то не вполне благонадежных гостей смотреть сквозь пальцы, делая вид, что ничего особенного не происходит и это по-прежнему, как всегда, торжественно восседает за правительственным столом социалистический реализм. Таким образом, сам факт существования Самиздата и Тамиздата оказывает некоторое воздействие на Госиздат. И некоторым талантливым авторам государство, скрепя сердце, предоставляет время от времени относительную независимость и идет как бы на взаимный компромисс, не становясь при том ни либеральнее, ни гуманнее.

С другой стороны, неподцензурная литература влияет и на отдельных писателей, к ней не принадлежащих, влияет чаще всего не прямо, а косвенно, как бы подзадоривая на более острые или полузапретные темы, на более свободный, раскованный образ мыслей и стиль. В итоге литературная картина становится интереснее и сложнее, чем просто деление на правоверных авторов и отщепенцев. Все эти сложности, все эти оттенки и переходы заставляют и нас, находясь в эмиграции, относиться более внимательно, индивидуальнее к тому, что происходит с литературой там, в метрополии, поскольку все-таки там, а не здесь источник ее будущего развития и обновления, чему мы должны по

возможности способствовать. Однако в литературно-критических статьях и обзорах, которые появляются последнее время в русской зарубежной печати, порою проводится слишком жесткая и решительная граница между тем, что происходит в литературе там и здесь. Под словом "здесь" я имею в виду также вещи, которые написаны там, но напечатаны здесь. Так вот, иногда получается, что там, в подцензурной словесности, даже лучшие вещи плохи, поскольку там писатель не может или не хочет высказать полную правду во весь голос, как это делают эмигрантские и диссидентские авторы. А полуправда так называемой промежуточной литературы (появился и такой термин) рассматривается исключительно как выгодная нынешнему государству сделка и маскировка. Об этом пишет Ю. Мальцев в весьма интересной, острой статье "Промежуточная литература и критерий подлинности":

"Разрешенная правда подозрительна самим уже фактом ее разрешения. Значит, есть у власти серьезные мотивы для того, чтобы разрешить эту правду и тем самым закрыть другую, более важную и более страшную правду" ("Континент", № 25).

Хотя сам я предпочитаю неразрешенную литературу, подобный критерий оценки художественной подлинности произведения мне представляется крайне узким. Ибо государство разрешает печатать не только то, что ему выгодно, но и то, что оно вынуждено разрешить, или то, что, с его точки зрения, достаточно нейтрально, безопасно и т.д. Тут возможны десятки вариантов, каждый из которых требует конкретного рассмотрения. Делить же литературу на вредную и полезную государству — нелепо. Пусть уж этим занимается советская власть, а не диссидентская эмиграция. Я думаю, что замечательный "Раковый корпус" Солженицына не напечатали в свое время в России не потому, что это вредная государству вещь, а потому, что государство у нас глупое и далеко не всегда понимает, где вред, а где польза. Так же и полнота правды, предлагаемая Ю. Мальцевым в виде пробного камня, не является единственным критерием художественного достоинства книги. В нынешней рус-

ской словесности, подцензурной и бесцензурной, есть прекрасные вещи, значение которых далеко не покрывается полностью высказанной в них правды. Например, роман "Путешествие дилетантов" Булата Окуджавы или, особенно меня поразившие своей стилистикой и архитектурой "Пушкинский дом" Андрея Битова и его "Похороны доктора". А уж к поэзии понятия полуправды и полной правды почти не приложимы. Разве Иосифа Бродского не печатали, потому что он слишком правдив? А Самойлова печатают за то, что он не правдив?

Но Ю. Мальцев идет еще дальше и предъявляет писателям промежуточного направления — таким, как Трифонов, Шукшин, Распутин и т.д., — политические обвинения: за то, что они отгораживаются от политики. *"Наивно говорить, что писатели эти якобы просто не хотят вмешиваться в политику, а хотят тихо заниматься своим ремеслом. Сознание любого человека в сегодняшнем мире политизировано, политика стала неотъемлемым компонентом бытия... Игнорировать это — значит заниматься как раз удобной властям политикой"*.

Не похоже ли это несколько на совсем еще свежие в нашей памяти нападки советских властей на аполитичных писателей, вроде Пастернака или Ахматовой? Дескать, их стремление уйти от политики это тоже политика, это — пособничество мировому империализму, их беспартийность это скрытая форма буржуазной партийности. И т.д. и т.п. — по логике: кто не с нами — тот против нас. Как тут не вспомнить Алексея Мих. Ремизова, который, выехав из России позднее других, писал в 23 г. в Берлине: *"Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время... когда здешние про нас, оставшихся... говорили: "продались большевикам!" и это я читал собственными глазами, а у нас, бывало, чуть что, и "продался мировому капиталу!" Какое надо иметь злое воображение и какие пустяки хранить в душе!"*

Разделение литературы по партийно-политическому признаку, с какой бы стороны это ни исходило, возбуждает у меня чувство протеста. Не потому, что я так уж люблю всех советских писателей промежуточного направления.

Просто ничто постороннее искусству (политика, мораль, философия, и даже религия, и даже "правда", "вся полнота правды"), на мой субъективный взгляд, — писателя не спасает. Тем более — политика. Самая хорошая политика это не критерий художественности. И чаще всего, мы знаем, "политизированное сознание", на которое упирает Мальцев, потому что оно теперь, дескать, у всех в мозгу, у любого человека, — за редким исключением, не приносит литературных плодов. Мало ли что "у всех" — политизированное сознание! Писатель, по словам Цветаевой, это — один из всех, а иногда один за всех и против всех. Или, как говорил Конст. Леонтьев, "эстетик" (т.е. человек художественно-одаренный) при демократии чувствует себя аристократом, при деспотической власти он — демократ, в эпоху безбожия он религиозен, а в эпоху религиозного ханжества ведет себя вольнодумцем. Короче говоря, пути искусства — неисповедимы. И каждый решает сам, как ему лучше писать.

Требовать же от писателя, живущего в Советском Союзе, чтобы он непременно вмещивался в политику и открыто противостоял государству, это, помимо прочего, безнравственно. Это все равно, что заставлять человека идти в тюрьму или эмигрировать. Ни запрещать эмиграцию, ни требовать, чтобы все настоящие, честные писатели покинули Россию, — нельзя. И это не сулит ничего доброго русской литературе.

Вообще, наверное, нам пора отказаться от руководящих указаний, каким должен быть писатель и куда, по какому магистральному направлению, ему надлежит двигаться. И куда должна развиваться литература. Пускай она сама развивается.

В противоположность Мальцеву, который ориентируется на писателей-диссидентов, выскочивших за границу дозволенного (и, вообще, за границу), который хочет, чтобы Трифонов, Распутин и другие шли путем беспощадных, политических разоблачений, наподобие Зиновьева, — А.И. Солженицын, например, придерживается совсем другого мнения. Он не верит в образованцев-диссидентов, но уповает на "глубинку", на почву, не засоренную интеллигент-

ским сознанием, где и коренятся подлинные, народные, национальные положительные начала. В известном интервью радиостанции Би-би-си Солженицын сказал: *"Русская литература всего больше меня поразила и порадовала, именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех, не в раздольи так называемого са-мо-вы-ра-жения – а у нас на родине, под мозжащим прес-сом"*. Сказано веско и, как всегда, своеобразно. Интересно отметить, однако, что беспочвенная эмиграция и диссидентская литература вообще – эту пилюлю проглотила. А не са-мо-вы-ра-жайтесь! И далее Солженицын определяет *"главный стержень русской литературы"*: *"Это – так называемая "деревенская литература" – "а на самом деле, – говорит Солженицын, – это труднейшее направление работы наших классиков". "Такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка... – к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что – они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами"* ("Вестник РХД", № 127).

Я лично высоко ценю некоторых авторов того направления, о котором говорит Солженицын. Но меня крайне смущает здесь само понимание художественного творчества. Ведь, согласно такому пониманию, Шекспир не мог проникнуть в психологию королей, поскольку сам королем не был. Версия Солженицына несколько напоминает теорию Пролеткульта, согласно которой новую, пролетарскую литературу должны создавать сами пролетарии, которые лучше чувствуют родной завод и станок, чем какие-нибудь интеллигенты-"попутчики". Да и крестьянская литература, созданная силами самих крестьян, тоже у нас уже была – и в конце прошлого века, и при советской власти. Достаточно назвать имена Сурикова, Подъячева, Вольнова и многих других, а рядом и лучше – Клюева, Клычкова, Есенина. Нет, не впервые крестьяне пишут о себе сами. Но впервые мы слышим, что за несколько последних лет со-

ветские крестьянские авторы обогнали классиков в изображении деревни. Куда там какой-нибудь Глеб Успенский, Чехов, Бунин, если сам Лев Толстой не достал до мужика!

Но ведь это же сенсация! Это литературный переворот. И вот на этот переворот как-то почти не откликнулась наша эмигрантская критика. То ли с Солженицыным спорить не хочется. То ли многие согласны с этим открытием. Но ведь если согласны, то следовало бы немедленно изучать и осмыслять, анализировать этот редчайший, уникальный опыт. Ведь не кто-нибудь, а сам Солженицын определил "главный стержень" литературного процесса в России. Или — надо оспаривать. Но и для того, и для другого нужна широкая и квалифицированная литературная критика, которой у нас, к сожалению, почти нет.

Это давняя беда эмиграции. Если перелистывать старые эмигрантские журналы, то каким-то рефреном звучит унылая констатация факта, на которую, впрочем, никто не обращает внимания: "У нас нет критики". Все прочее, казалось бы, есть. Высокая культура. Плеяда блестящих писателей, которой мы можем только позавидовать. Издательское дело, которому мы обязаны множеством ценнейших книг. Более того, как известно, русская религиозно-философская мысль получила в эмиграции обоснование и развитие, и появились великолепные книги, которыми до сих пор питается и будет еще долго питаться Россия. И только настоящая литературная критика почему-то отсутствует. Или, как пишет Э. Гиппиус в начале 30-х годов: *"Критика нам не по времени, не ко двору. Критические статьи даже самых способных наших литераторов поражают своим ничтожеством"*.

Может быть, критики не было потому, что критика всегда свидетель и участник живого и бурного литературного процесса, движения. А такого движения не было в эмиграции, несмотря на наличие больших творческих индивидуальностей. Или, быть может, отсутствие критики связано с отсутствием читателей, на что не раз жаловались писатели-эмигранты. Ведь критика это посредник между писателем и читателем. А с кем же посредничать, если читателей нет? Сошлюсь в этой связи на статью Г. Иванова 1931 г.

под названием "Без читателя". Хотя в ней говорится о первой эмиграции, она и для нас актуальна, поскольку рисует среду, в которую, в сущности, и мы попали, переехав на Запад, и может нам служить довольно неприятным предостережением. По словам Г. Иванова, есть писатели, но нет читателей, потому что читательская масса окрашена в один цвет – "безразличной усталости", и "в литературе она ищет развлечения и успокоения". И вот в итоге писатель становится конформистом по отношению к этой среде.

"Нет удушливой атмосферы – чем атмосфера благосклонного безразличия, почтенной умеренности. В такой атмосфере и сам, кто бы ты ни был, становишься благосклонно-почтенным, становишься понемногу, незаметно для себя и чем более незаметно, тем более безнадежно". "Сама собой установилась и забирает все большие права строжайшая самоцензура, направленная неумолимо на все, что выбивается из-под формулы "писатель пописывает, читатель почитывает", тщательно обрезаящая все космы, хоть и вяло пытающиеся из-под нее выбиться. Кто же установил эту цензуру? В том-то и ужас, что "никто" – сама собой установилась... Никакие Бенкендорфы и никакие Победоносцевы не могли, как ни старались, низвести русскую литературу до желанного уровня "семейного чтения" – а сколько было приложено старанья и какие испытанные применялись средства. Душили, но и полузадушенная она твердила все то же преступное: "хочу перевернуть мир". Теперь, в условиях почти абстрактной свободы, – сознательно, добровольно, "полным голосом" она говорит: "хочу быть приложением к Ниве". "... В поразительном оскудении, к которому пришла русская эмигрантская литература, переставшая совершенно очевидно (незаметно для себя, мягко, "на тормозах") быть сколько-нибудь "на уровне" России, в ее мировом значении, одной из причин, может быть, основной, была та, что она старалась и старается быть похожей на "дорогого покойника" – эмигрантского читателя". "И вот – посмотрим правде в глаза – где она, эта русская культура? В чем она? В незыблемости буквы Ъ? В том, что любую книгу, изданную в эмиграции, "можно дать в руки" подростку, а если нельзя дать, то само собой следует, что

эта книга позорна. Что, с другой стороны, все подымающееся над уровнем "художественного чтения" в область духовных, религиозных, общественных исканий... осуждается как вредная и ненужная "декадентщина". Представим для примера появление в этом нашем "удушливом дыму" хотя бы Чаадаева с его "особым мнением" о России. Николай I нет, нет и Бенкендорфа, но они бы могли быть спокойны. Можно ли сомневаться, что "вся русская культура за рубежом" как один человек не объявила бы Чаадаева заново сумасшедшим? Нельзя сомневаться. И объявив, была бы по-своему права, по своей логике и логике своего читателя, на которого она из всех сил старается походить. Но скажем откровенно — где тут Россия, хотя бы Россия Николая I, в которой мог, все-таки, появиться Чаадаев?"

Так или иначе, но такие новые и важные для 20-х гг. фигуры, как Пастернак, Маяковский, Хлебников, Бабель, Зощенко, Мандельштам, Платонов, Тынянов и др. прошли почти мимо современного им эмигрантского восприятия. Не получили по достоинству у современников серьезного и разностороннего освещения такие авторы в самой эмиграции, как Марина Цветаева, Ремизов, Ходасевич, Набоков. Тот же Г. Иванов, тонкий поэт и знаток литературы, — писал о Набокове — в то время авторе "Защиты Лужина" и "Машеньки" — что это "знакомый нам от века тип способного, хлесткого пошляка-журналиста, владеющего пером", что это "кухаркин сын", разыгрывающий из себя "графа". Не очень-то гладко обстояло дело и с эмигрантским восприятием новой западной литературы. Вот что заявлял о Прусте хороший писатель Ив. Шмелев, сравнивая Пруста с третьестепенным русским автором 70-х—80-х гг. прошлого века Альбовым: "Пруст не может считаться крупнейшим выразителем нашей эпохи. То, что делает Пруст, слишком мало для взыскательного читателя... Если бы знатоки и высокоценители Пруста попробовали почитать нашего Альбова, они нашли бы там не менее тонкий и "пространный" — напоминающий Пруста! — стиль... столь же утомляющий. Но у Альбова есть полет и светлая жалость к человеку, есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст? какому Богу служит? Наша литера-

тура слишком сложна и избрана, чтобы опускаться до влиятельной невинности. Наша дорога — столбовая, незачем уходить в аллеи для прогулок”.

Как это переключается сейчас с Солженицыным, сказавшим в том же интервью: *”Никакого ”авангардизма” не существует — это придумка пустых людей. Надо чувствовать родной язык, родную почву, родную историю”*.

Все бы ничего, когда бы следуя, по Шмелеву, столбовой дорогой, литература не зашла в тупик. Та, куда более блестящая, чем у нас сейчас, литература первой эмиграции, объявившая в 22-м году, что с ее уходом за границу ничего творческого в России не осталось, не прошло и 10-ти лет, должна была признать свой глубочайший кризис. Причин много. И, может быть, одна из причин упадка, что литература слишком уж придерживалась столбовой, проторенной дороги, т.е. жила по инерции и не искала нового. Поменьше бы и нам с вами устанавливать столбовые и стержневые пути, от которых литература, развиваясь, уклоняется в сторону, и хорошо делает: иначе бы она омертвела.

У нашей третьей волны много недостатков по сравнению с первой эмиграцией. Но есть одно преимущество, которым было бы грешно не воспользоваться. Сегодняшняя Россия с тем лучшим, что там появляется в литературе, для нас не чужая и не закрытая страна. И наши читатели не только здесь, но и в современной России. Да и шире рассуждая, нынешняя эмиграция куда теснее связана с метрополией, чем это было в прошлом. В наши задачи входит укрепление этих мостов и наведение новых. Одной из форм живого общения могла бы служить и критика — не в виде вынесения приговоров и оценок, но в более серьезном, разветвленном и вместе с тем конкретном рассмотрении литературных явлений — по разные стороны воздвигнутых государством барьеров.



Саша Соколов

НА СОКРОВЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ

Само ли прекрасное приискивает себе подмастерьев среди беспризорных и озорных духом и, очаровывая невечерним светом своей бесполезности, возводит их в мастера?

Премного ль обязаны те умениями своими прекраснодушным наставникам из ремесленных душегубок?

Иль все начинается и творится по воле прекрасной инакости — отрешенно и вопреки?

Иными словами: на чем мы остановились, что умозаключили на наших тысячелетних досугах: что было и будет в начале: художник или искусство? А также: наличествует ли наше прекрасное, если мы не имеем к нему касательства, не имеем в виду, отвернулись и очерствели. Или ударились в безобразное. Положим — в безобразии благополучия; в безобразии небытия — в этот крошечный стыд; в безобразии сплетен об истине. Где там, кстати, в каком балу влачится ее драгоценный шлейф, отороченный благородным скуисом?

Что нам делать без этой сиятельной дамы, ведь в наших собраниях повисла масса вопросов. Ведь нам не удастся не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить эту вопросительную горбатость — словно бы раболепную, угодливую, а в сущности настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас.

Выступление на конференции в Лос-Анджелесе.

Что там себе подделывал в деревне зимой Александр Сергеевич, и как хороши, если конкретизировать, в какой именно степени были свежи розы Ивана Сергеевича?

Как — а главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем — то чем тогда заниматься? Не сочинить ли биографию Навуходоносора, не составить ли мемуары, не податься ль в отцы нации, не причислиться ль к лику святых?

Кто есть кто? Кто зван, а кто призван? Или просто ребром: ты меня уважаешь?

На улице неотложных вопросов — праздник и ярмарка. В балагане политики, идеологии и тщеславия, где витийствуют околосведы и вещают пророки — полный сбор. Главный номер программы: пара коверных с брандспойтами обдаёт умиленную публику густопсовой дресней, а потом вся в белом на белом коне на арену выезжает сама Посредственность. Спешите видеть.

Ну, а те-то, которые беспризорные духом?

В культуре, подвергшейся множественным размножениям с применением лакированной тары, заготовленной умопомрачительной требухой — глас они вопиющего в индифферентности: подайте юродивому копеечку!

И что, казалось бы, делать — только не Александру Сергеевичу, и не зимой у себя в поместье, а вот мне, Александру Всеволодовичу, круглый год, и в совершенно иной земле, где не пахнет сирень, деревья забыли свои имена, где о свойствах древесных лягушек можно потолковать лишь с самоотверженным соколоведом Доном Бартоном Джонсоном, а на кладбищах вместо задушевных могильщиков с их гуманными лопатами и веревками работают трубоукладчики и бульдозеры.

Что делать нам всем, для которых полупроводник — это не более, чем проводник, обслуживающий два вагона?

Конечно же — преподавать, прометействовать, возжигать светильники разума: университетов же — тьма.

Как возможно не знать произведений Гордия, трудов Сизифа, философских воззрений Прокруста, — воскликнул профессор, вернее — ассистент-профессор, до слез оскорбленный неведением студента.

Да будет вам, — отмахнулся студент, — у вас — своя компания, у нас — своя.

В самом деле, с чего этот экзальтированный экзаменатор возомнил, что его дисциплина чего-нибудь стоит, чего он пристал к представителю молодежи?

Видать, господин профессор — приезжий, небось, эмигрант из какой-нибудь там России, где, слышно, союз писателей играет роль чуть ли не оппозиционной партии. И чего еще церемонятся там с этими борзописцами. Вот отрубят им всем, говоря по-китайски, собачьи головы — тогда узнают. Не скажу за Париж, за Лондон, за Копенгаген. Быть может, процесс выздоровления объединенных наций от литературной хандры происходит неравномерно, и в тех одряхлых столицах, словно в каких-нибудь бразилиях и сибирях, еще не в курсе, что лавочку изящной словесности пора прикрывать. Но у нас в Новом Свете, рекомендую: писатель, — вы должны непременно оговориться, что позволяете себе это слово в значении здесь отставном и невнятном.

Ибо в представлении нечитающей массы райтер — это человек, умеющий набросать письмо, заявление, манифест, пособие по бегу трусцой, популярный социологический трактат, заполнить налоговую анкету. Нету в местном наречии и старого доброго имени графоман, в нашем, то есть, понятии. Ведь медицинский термин графоманиак намекает, что уважаемый райтер просто слегка приболел. То есть — это почти синонимы.

Да чего там, право, эстетствовать, элитарничать. Здесь нам не петербургский салон времен замечательного поэта-нудиста Константина Кузьминского, пусть сам он и переехал в Техас.

Оставьте в покое свою Мнемозину, милостивый государь, не теребите ее, не мусольте.

Когда, оздоровленный новейшим опытом, я живописую кому-нибудь, что значит в стране моего языка быть писателем, или хотя бы слыть им, я думаю: баснословен.

А когда, вояжируя из Канады в Америку, меня на таможе спрашивают: занятие? и я отвечаю: писатель, — меня немедленно начинают обыскивать. Потом прибывает проникновенный гражданин в штатском и у нас заходит душещипательная беседа на предмет сердечной привязанности. В

Канаде, говоришь, родился? А пиццешь, говоришь, на русском? А сердце твое, говоришь, — где?

Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр.

Вот как уклончиво следовало бы мне отвечать, но я опасуюсь прослыть излишне сентиментальным. Ведь моя литературная репутация и без того уж подмочена.

Вы знаете, отчего я столь внимательно вас лорнирую, — сказала мне графиня из первой волны, когда мы сидели с ней за одним из ее наполеоновских столиков, имея ланч.

Помилуйте, — возражал я, тушуясь.

Я прочла вашу Школу Для Дураков два раза, — продолжала графиня, — и, поверите ли, поначалу решила, что вы — вольнодумец, масон, а теперь догадалась: вы просто умалишенный.

Лорнирует меня и канадская Ее Величества конная контрразведка.

Однако ее осенила догадка иного толка.

Ваша карта бита, — заявили нам в компетентном монреальском учреждении, — вы и ваш земляк Соколов Александр, он же — Саша: шпионы. Улики? Более чем достаточно.

Во-первых мы оба что-то все время пишем, во-вторых мы однофамильцы. Только один из нас, будучи монархистом, пишет нашу фамилию с двумя зф на конце, а другой, будучи сам по себе, — с одним ви.

Когда меня арестуют, я утешусь следующим воспоминанием.

Однажды в Италии был задержан немецкий лазутчик, который срисовывал старинные башни. И хотя он пытался уверить следствие, что он известный поэт, дескать — Гете, имя его никому ничего не сказало. Ведь этот Иоганн Вольфгангович тоже подвизался под рубрикой Литерачер Бийонд Политикс.

А ведь упреждал, упреждал меня пьяница дядя Петя, малограмотный егерь из волжской деревни, где я тоже работал егерем и писал первую мою книгу: Санька, говаривал дядя Петя, не ездь в Америку

Впрочем, когда он давал мне этот стариковский совет, об эмиграции я даже не помышлял. И искренне удивлялся: Бог с тобой, Петра Николаич, с чего ты взял какая Америка.

Вижу, вижу, читал он мою судьбу, уедешь.

Слова его тем более озадачивали, что о политике мы никогда с ним не заговаривали. Газет в деревне не получали, радио не интересовались и жили размышлениями о состояньи реки, погоды, охоты. И пророчество дяди Пети являлось вдруг, в просторечье прекрасной застольной беседы минимального смысла и осмысления.

Странны, загадочны и трагичны события, происходящие в той захудалой местности, где, кроме меня, обретал вдохновенье Чайковский и Пришвин, Рильке и его переводчик от русской сохи Дрожжин, но где душа человеческая не многим дороже пары сапог.

Там протекает Волга, она же — Лета, впадающая в Тюркское море Забвения. Чаевичая ее водою и входя в обстоятельства ее берегов, делаешься навсегда причастен к необъяснимому — в ней и в судьбах ей обреченных.

Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера.

А что, начинается эта неглазированная деревенская проза, не сказывал разве тебе дядя Петя, чтобы не ездил куда не след? Не послушал — вот и не знаешь про нашу деревенскую жизнь.

После утопление Ломакова Витьки за время твоего отсутствия — случилось.

Помнишь ли Илюху-придурошного? Пошел Илюха за Волгу за выпивкой на день Конституции, а лед еще слабый был — так уж после только лыжи нашли.

Костя Мордаев, который инвалид-перевозчик: тому конец загодя был известен. Вот и уснул на корме. Глубины, куда култыхнулся, — с полметра было. Но Мордаеву и того достало.

А теперь про Вальку, Витька-хромого жену да про бабку Козявку. На ноябрьские поехали на ту сторону в магазин, а уж закраины обозначились. Выпили в магазине — и обратно гребут. А когда на лед вылезали — то опрокинулись. Стоят в воде и кричат. Услышали их в домах, стали мужей будить, а те сами в стельку. Проснулись они утром, а жены

ихние в сених стылые уже лежат. Запили мужики пуще прежнего.

Или вот Борька-егерь как-то с папиросой уснул — ну и сгорела изба, да и от Борьки ничего не осталось.

И еще много всяких таких историй случилось у нас и в соседних деревнях, заканчивается этот сокращенный мною мартиролог, обо всем не расскажешь, книжку надо писать. Я написал ее. Называется — Между Собакой и Волком.

С фотографией деревенского ясновидца Петра Красалымова на обложке, она вышла в Ардесе за несколько месяцев до получения этих известий.

Тем не менее все они в той или иной интерпретации в ней прочитываются. А что касается невзгод человека, который стал прототипом матроса Альбатросова, то эти невзгоды постигли его чуть ли не в полном соответствии с текстом.

Увы: написанное сбывается.

Ибо судьба подсказывает беспризорному духом решения, которые уже приняла.

И мастер ли пишет житейские мифы, они ли — его, все равно: текст промыслен все там же, на сокровенных скрижалях.

И не судьба ли ответит на все вопросы, не она ли решит, что пребудет в конце: слово или молчание?

И если потребуется — вырвет наши грешные языки.



Томас Венцлова

”ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ”

ИОСИФА БРОДСКОГО

Трудно и неловко говорить о стихах, посвященных тебе же самому. Вероятно, это и не принято. Если я все же решился рассматривать ”Литовский дивертисмент” Иосифа Бродского, то в основном по одной причине: обстоятельства сложились так, что я лучше кого бы то ни было — кроме, разумеется, автора, — знаю, *о чем* эти стихи. Многие вещи, написанные в наши дни, нуждаются в подробном исследовании ничуть не менее, чем вещи классиков. Частью этого исследования должен быть фактический и генетический комментарий. Без него они порою просто непонятны — и уж тем более покажутся непонятными нашим потомкам. Мне могут сказать, что Бродский сам снабдил ”Литовский дивертисмент” примечаниями. Но его примечания — а также, кстати говоря, транскрипция некоторых собственных имен — не совсем точны (быть может, иногда намеренно); и уж во всяком случае, они неполны.

”Литовский дивертисмент”, вероятно, не относится к главным произведениям Бродского. Это стихи ”легкого жанра”. Само слово ”дивертисмент”, как известно, двусмысленно — оно обозначает либо развлечение, либо отступление, шаг в сторону, и поэт играет на этой двойной семантике. Все же я надеюсь показать, что существенные и

Выступление на конференции в Лос-Анджелесе.

серьезные темы Бродского проходят и сквозь эту несерьезную, как бы между прочим, ради отдыха написанную вещь. Но вначале — о том, по какому случаю она писалась.

Весною 1971 года в Литве неожиданно оказался польский поэт Виктор Ворошильский, знаток русской литературы, едва ли не первый переводчик Бродского на польский язык. Сейчас Виктор Ворошильский — один из главных деятелей польской неофициальной печати; но уже и тогда он был лицом достаточно неблагонадежным. Визу в Советский Союз по моему приглашению ему не дали, ибо и я благонадежностью не блистал; но Виктору удалось использовать другое приглашение, высланное из Эстонии, и по пути в Таллин он вместе с женою и дочерью постучался ко мне. Я предоставил Ворошильским чердак, где жил в те годы; а сам ушел ночевать к друзьям на улицу Леиклос. Возможно, это меня и спасло от неприятностей. С почтатом я позвонил Бродскому в Ленинград и без объяснений попросил приехать. "Когда?" — спросил Бродский, тоже коротко и без лишних расспросов. "Сегодня". "Буду завтра". На следующее утро я встретил его в аэропорту; мы втроем с Ворошильским несколько дней ходили по городу, сидели в кафе, говорили о Лозинском, Фросте, Роберте Пенне Уоррене и многом другом; помнится, зашли в университет, на выставку старинной книги, и я показал им трактат с забавным названием "Responsum St. Bisii ad amicam philosophum de melancholia, mania et plica polonica sciscitantem" (кстати, это не средневековая книга, как утверждает Бродский, а просветительская, написанная в конце восемнадцатого века). Ночевал Бродский там же, где и я — на Леиклос. Это особый угол города, удаленный от обычных туристских мест — вроде бы и центр, но как-то на отшибе. Там некогда жили мастера, отливавшие колокола для вильнюсских костелов. Слово "Леиклос" означает "Литейная"; то есть улица как бы повторяла Литейный проспект, вблизи которого Бродский жил в Ленинграде, и это нам казалось неслучайным. Рядом с улицей — два костела; они не принадлежат к числу знаменитых, но это все же настоящее вильнюсское барокко — провинциальное, позднее, прелестное. Ближе двубашенный белый костел св. Екатерины; чуть далее круглый купол Доминиканцев,

изнутри странной и как бы неправильной формы — “ушная раковина Бога” из последнего стихотворения цикла. Сразу за костелами начинается вильнюское гетто. От него остались два или три переулочка. Они тщательно восстановлены и еще более тщательно очищены от всего, что могло бы напоминать о людях, которые там жили и погибли. Это и есть топография “Литовского дивертисмента”.

Пока мы отсиживались на Леиклос, у Ворошильских случилась неприятность. В четыре часа утра к ним на чердак явились “искусствоведы в штатском”. Они объяснили испуганной и не одетой жене Виктора, что пришли забрать хозяина — то есть меня, — на какие-то сборы или мобилизацию. Я и сейчас не знаю, что это было на самом деле — самоуправствовал ли военкомат или другое, еще более почтенное учреждение. Наутро мы смеясь обсуждали визит “ночного молочника” — чисто советское развлечение для иностранных туристов; но я на всякий случай остался на Леиклос подольше. Уезжая из Вильнюса, уже стоя на ступеньке вагона, Ворошильский сказал: “Что же, Иосиф, мы все же встретились, хотя история старалась этому помешать”. “География помогла”, — ответил Бродский. На границе всей семье Ворошильских устроили обыск — лагерный шмон по первому разряду, с раздеванием и так далее; правда, ничего предосудительного почему-то не нашли. Позднее Ворошильский написал стихи — “Пересечение границы”, где, вероятно, отражен и этот опыт.

Таков реальный подтекст “Литовского дивертисмента”. Правда, в стихи подмешаны воспоминания от других приездов, от Каунаса и Паланги — Бродский любил Литву и был в ней раз пять. К тому же о вильнюсской встрече, о ее лицах и событиях в цикле нет ни слова — “предмет погони скрыт за пределами герба”. Но остались названия, детали местного барокко, память о мертвых из вильнюсского гетто; осталось странное столкновение истории с географией, колтун пространства и времени, давящее и сводящее с ума присутствие неназванной Империи. Все дано как будто невзначай, в полушутливом “забавном русском слого” — только к самому концу прорывается подлинный, нестилизированный голос. Суть стиха, как обычно у Бродского,

заключена в сплетении мотивов, которое я назвал бы *барочным* и *музыкальным*.

Бродского причисляют к поэтам классического или неоклассического толка. Это верно, однако у него есть и другое. Причудливость его мысли, острота и заостренность образов, культ приема и концепта, ироническая риторика — черты скорее барокко, чем "нормального классицизма". Барочный Вильнюс оказался прекрасным полем для испытания этой поэтики. Кстати говоря, это город не только архитектуры барокко. В семнадцатом веке здесь существовала и барочная литературная школа, отдаленно сходная с английской метафизической школой, столь излюбленной Бродским. Вещи, при всем различии масштабов, несколько напоминающие Джона Донна, здесь писал по-латыни Мацей Сарбевский, по-польски Даниэль Наборовский, по-литовски Константинас Ширвидас. Разумеется, ни о каких прямых воздействиях на Бродского тут не может быть и речи; а все же радостно отметить эту дальнюю перекличку. Барокко — это школа, сильнее прежних почувствовавшая вес антиномий и оппозиций; ощутившая тщетный, неустойчивый, низменный мир эмблемой мира незыблемого и вечного; возведшая в принцип разностильность, разнонаправленность, разноречие. В сложных, изысканных по ритму построениях барокко находилось место всему: античному, библейскому и национальному, трагедии и сатире, гедонизму и мистике, высокой литературе и натурализму, литании и рискованной шутке. Языки сталкивались и диссонировали — кстати говоря, также и на поверхностном уровне, в явлении макаронизма. Следование традиции шло бок о бок с ее нарочитым искажением и переосмыслением. Отношение к тому, что важнее всякой традиции — к Богу и догме — также было непростым, но очень живым и напряженным. Средиземноморская система символов, служившая опорой богослову и поэту прежних времен, распадалась; религиозному накалу сопутствовало сильнейшее ощущение богооставленности, понимание Бога как *Deus absconditus*; человек уже не воспринимал себя как центр и венец создания, оказывался на периферии космического текста — то ли в этом была повинна коперниковская астрономия, то ли сам коперниковский переворот был следствием более глу-

бинных процессов в области духа. Во всяком случае, приходилось усиленно — иногда почти авантюристически — искать новую метафору, новую мысль, новое и личное соотношение с мировым целым. Полагаю, что это краткое и приблизительное описание поэтики барокко есть также краткое и приблизительное описание поэтики Бродского — и, пожалуй, особенно "Литовского дивертисмента" (вспомним, что жанр литературных путешествий — тоже в значительной степени барочный жанр). Конечно, эпохи в литературе, да и вообще, нигде не повторяются. Но иногда с удивительной четкостью повторяются *переходы* от эпохи к эпохе. Хотя сейчас принято усматривать некоторые черты барокко у Симеона Полоцкого, Ломоносова или Державина, вряд ли кто будет отрицать, что настоящего барокко — равно как и Возрождения — в русской поэзии не было. Но *переход*, аналогичный переходу Возрождение-барокко — был. Это переход от серебряного века к эпохе Бродского и его современников, которую с чьей-то легкой руки — и не совсем справедливо — иногда называют медным веком. Между этими двумя эпохами лежит коперниканский переворот Гулага.

Второй термин, который напрашивается при исследовании поэтики Бродского — музыкальность. Разумеется, не та тривиальная музыкальность, которую порой усматривают в гладкости стиха, в насыщении его певучими интонациями в неестественном проценте сонорных. Такого рода музыкальности у зрелого Бродского нет вообще. Более того, поэтическая вселенная Бродского, как правило, глубоко дисгармонична. Она предстает именно в том состоянии, о котором некогда с ужасом спрашивал Гоголь: "Если же и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?" И все же не следует забывать, что дивертисмент означает не только развлечение и не только шаг в сторону. Это еще и строгая музыкальная форма, — кстати, опять же восходящая к барокко, — достигшая совершенства у Гайдна и Моцарта, равно как и у стилизаторов Стравинского и Бартока. Цикл Бродского несомненно родствен дивертисменту именно в этом понимании слова. Дисгармоничность падшего, лежащего во зле, энтропийного мира в нем уравновешивается и как-то преодолевается виртуозно гармонической

компоновкой, расположением и сочетанием тем. Пожалуй, излишне отыскивать строгие параллели: законы поэзии и музыки совпасть не могут. Но многие сходства очевидны.

Музыкальный дивертисмент состоит из нескольких частей разного типа; их бывает пять и больше, до тринадцати (у Бродского их семь). Кроме того, дивертисмент цикличен: его каноническая структура имеет вид Аллегро-Менуэт-Анданте-Менуэт-Аллегро. В "Литовском дивертисменте" нетрудно усмотреть композиционные связи (или оппозиции, которые также являются видом связи) между первой частью и седьмой, второй и шестой, третьей и пятой. На эту сетку циклических соответствий, кстати, накладывается иная. На уровне метра и ритма первая часть объединяется с пятой (пятистопный ямб), вторая с четвертой и седьмой (четырёхстопный ямб), третья с шестой (специфический вольный стих Бродского, построенный в основном на комбинациях трехсложных стоп, с переменным количеством иктов в строке). Таким образом, гармония строгого цикла — как и следовало ожидать — оказывается сдвинутой и нарушенной, но все же ощутимой. В "Литовском дивертисменте" можно найти и другие музыкальные приемы — ведение и разработку противоположных тем, модуляцию и т.д.; подобные сопоставления с музыкальной формой отчасти прояснятся в дальнейшем изложении, хотя я и не буду ими слишком увлекаться.

Первая часть цикла написана классическим белым стихом, строго скомпонована (пятистишие — семистишие — пятистишие) и, кстати говоря, длиннее всех остальных. Части имеют тенденцию сокращаться к концу: в первой 17 строк, во второй 16, в третьей и четвертой по 12, в пятой — в виде исключения — 14 (это английский сонет), в шестой лишь 8. Короче всех седьмая часть, этим — как и многим другим — противостоящая первой: в ней семь строк с половиной. Но первая часть — это интродукция, спокойный, обстоятельный и неспешный рассказ, вводящий основные темы цикла. Она кончается ключевым словом — "метасловом", описывающим стилистику и поэтику "Литовского дивертисмента"; это слово *барокко*.

Речь поначалу идет о *пространстве* (заметим еще одно ключевое слово в седьмой строке — *география*). Первые

пять строк описывают *страну*, последние пять — *город, столицу* (классическое противопоставление *otbis—urbis*, существенное для Вильнюса, как и для Рима). Между ними втиснуты семь строк, написанных, как часто бывает у Бродского, несколько пародийным полунаучным слогом, где разветвленная логически построенная фраза перебивается не вполне пристойной, но тоже наукообразной шуткой. Кстати говоря, певец, "отечество сравнивший с подругой" — это литовский классик Майронис (1862-1932), памятник которому поставлен в Каунасе; темой шутки служит его стихотворение "Первая любовь", по сей день популярное в Литве. "Бурый особняк диктатора" — это особняк Антанаса Снечкуса (1903-1974), генсека литовской компартии, личности примечательной во многих и часто неожиданных отношениях.

Русские писатели последних десятилетий часто обращались к прибалтийской теме — кроме Бродского, мы найдем ее и у Аксенова, и у Горбаневской, и еще у многих. Пожалуй, здесь даже есть некоторая параллель с "кавказской темой" у классиков (любопытно, что Кавказ сегодня сохраняет свое значение для авторов второстепенных, советских и полусоветских). За Кавказом просвечивал Восток; Прибалтика воспринимается как Запад — разумеется, паллиативный, суррогатный, но Запад. Это область, где можно хотя бы на время вздохнуть несколько иным воздухом, хотя бы отчасти укрыться от "всевидящего глаза и всеслышащих ушей". У Бродского Прибалтика своя, остринная, данная глубоко иронически. Путник видит как бы и не Литву, как бы и не Советский Союз, а некое обобщенное малое государство середины двадцатого века. Но истинное положение вещей все же легко постижимо. Запоминающаяся картина страны и города создана поэтической игрой на разных уровнях — грамматическом, синтаксическом, семантическом.

Это провинция как таковая: провинция, настаивающая на своем, особом, частном, находящаяся где-то на окраине Империи, на пороге иного (необязательно лучшего) мира, но вполне подчиненная имперским законам. *Частное* в ней оборачивается распадением мира на *части*. Пространство дано короткими "стоп-кадрами"; преобладают назыв-

ные предложения, существительные (их 35 при всего пяти финитных глаголах). Время стоит на месте: не только выбраны грамматические формы, указывающие на повторяемость, но выбран и особый час (полдень), и особый момент года (весна, но еще со снегом: весеннее равноденствие), когда сильнее всего ощутима длительность и неизменность. Это мир подмен и овеществлений: певец заменен своей статуей, диктатор своим особняком, мертвые евреи исчезнувшего гетто приравнены к снегу. Это беззвучный, чисто зрительный мир, мир отсутствующей коммуникации, молчащих (но, быть может, подслушиваемых) телефонов. Подчеркнута семантика замкнутости, стагнации, тесноты, ущербности, удушья. Движения нет — в лучшем случае есть бессмысленное мельтешение, случайная смена направлений, толчея. Любопытна, так сказать, топология этой страны: в ней есть юг и север, восток не упомянут вообще, а Запад не без умысла дан с прописной буквы — к стране он уже не относится; мотив "пересечения границы", существенный для цикла, преподнесен в тонах водевиля или, точнее, драмы абсурда. Вся панорама есть как бы натюрморт — решительно все синхронно, отчуждено и одинаково; даже "бесчисленные ангелы на кровлях бесчисленных костелов" (новый и важный мотив) мертвы и взаимозаменяемы. Человек приравнен к вещи, превращен в ничто.

Эта общая семантическая тема по-своему преломлена в самой перспективе рассказа. Ни первого, ни второго лица — ни явного адресанта, ни явного адресата — в интродукции нет. Ведется безличная речь — ироническая, стилизованная, внеэмоциональная. Рассказчика можно восстановить разве что по его тону: то ли это некий пошловатый денди, забредший сюда из "прекрасной эпохи", то ли современный городской житель, "жертва толчеи", потерявшая центральное место в мире. Образ его мельтешит, двоятся, совпадает и не совпадает с автором. Скорее всего, это просто точка зрения, а не личность. Совершенный никто, человек в плаще.

Второе стихотворение, вообще говоря, представляет собою резкий контраст к интродукции. Этот контраст заметен на уровне ритмики (белый стих заменен энергичным четырехстопником), на уровне грамматики (существитель-

ные вытесняются огромным количеством глаголов в инфинитиве), на уровне синтаксиса (вместо множества кратких, рубленых назывных предложений появляется одна нескончаемая фраза, перебрасываемая из строки в строку). Географию сменяет *история*; застывшее настоящее оборачивается *прошлым* (впрочем, сослагательным и воображаемым). Мир становится гораздо конкретнее: это уже не обобщенная имперская провинция и пограничье, а вполне реальное Вильно сто лет тому назад. Являются топонимы и микропонимы, характерный словарь эпохи, ее детали, ее эмблемы (даже двубашенный костел св. Екатерины назван "двуглавой Катариной", конечно же, не просто так). Время как бы сдвигается с места: становится возможным — хотя бы мысленно — менять свое положение в нем, проигрывать разные варианты судьбы. Расчлененное пространство интродукции превращается в единое (взгляд переходит от укрытого интимного угла комнаты к окну, саду за окном, переулкам за садом, и наконец открывается бескрайний горизонт Галиции, Атлантики, Нового Света). Мир лишается признаков статуарности и беззвучности. Это особенно подчеркнуто в двух строках с их весьма утонченной фонологической игрой:

тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто.

Меняется, наконец, и рассказчик, адресант. Сейчас это не просто редуцированная "точка зрения" — это скорее конкретное лицо с конкретной судьбой; но оно попрежнему двоятся и троится, предстает одновременно как поэт, повествующий о прошлом, и как его двойник, бывший и небывший мальчик из виленского гетто, то ли погибший на синих Карпатских высотах, то ли пересекший границу, сменивший империю, растворившийся в чуждых пространствах. Оба варианта его судьбы крайне ироничны: *буква* стирает личность; что Вера, что Отечество, что Первая Мировая, что Новый Свет — нечто одинаково отчужденное и бессмысленное. Сохранен тот же не прямой модус отношения к миру, тот же антипафос, что и в интродукции; впрочем, это вообще свойственно Бродскому и нарушается не часто (тем веселее нарушения).

Темы или мотивы, заданные в интродукции, чисто музыкальным образом разрабатываются в последующих стихотворениях цикла. Здесь, во втором стихотворении, отметим мотив *еврейства*: он важен для Бродского, но важен скорее всего в цветаевском смысле, когда к еврею приравнивается всякий изгой и прежде всего поэт. Это также мотив человека во враждебном мире, создаваемого и определяемого чуждым взглядом ("наведенным лорнетом"), чуждым языком и модой, чуждой эмблематикой, идеологией, историей. Отметим еще мотив *телесной, сексуальной жизни* — ущербной, бесплодной, стыдной, в конечном счете тоже сводящейся к одиночеству, изгойству. Обе эти темы — наряду с другими — в различной инструментровке пройдут и в следующих частях.

Третье стихотворение — как бы короткая секвенция из современного кинофильма. Снова меняется ритм, грамматика (существительные и глаголы оказываются в приблизительном равновесии), синтаксическое членение (секвенция состоит из трех строф, каждая из которых — завершенная фраза). В интродукции была дана обширная пространственная панорама, во втором стихотворении — также и временная; здесь мир резко суживается, пространство и время — любимые и постоянные герои Бродского, наконец-то названные своими именами — превращаются в действующих лиц, посетителей провинциального кафе. Кругозор ограничен дверью и ближайшими кровлями; друг за другом следующие крупные планы лишены *стереометричности, глубины*; движения также нет — вероятно, минуту назад что-то происходило и *окончилось, иссякло*. Разрабатывается тема *блудного, проклятого, энтропийского города* — кстати говоря, очень частая в литературе, связанная с именами Бодлера, Лафорга, Элиота, а также Случевского, Анненского, Заболоцкого. Это расчлененный, смертный, наводящий ужас мир, несколько в ином виде заданный в интродукции. Вновь проходят мотивы *немоты, псевдокоммуникации* ("вельня щучьего") и *телесной, сексуальной жизни* — в ее наиболее низком, случайном, натуралистическом варианте. Рассказчик вновь подчеркнуто ироничен по отношению к самому себе и подчеркнуто отделен от самого себя; взгляд его — это взгляд со стороны и в профиль.

Четвертая часть весьма отличается от остальных. Это композиционный центр и стержень цикла. С другой стороны, это как бы "отступление в отступлении", "дивертисмент в дивертисменте", нечто слабо связанное с остальными стихотворениями — и в этом смысле нулевой пункт. Он выделен и по величине, и по строфике, и по теме. Поэт переходит от описания мира к описанию знака, эмблемы этого мира — иначе говоря, к метаописанию. Говорится о Погоне (Vytytis), гербе средневековой Литвы, а также независимого литовского государства в 1918-40 годах. Погоня — это всадник с поднятым мечом, белый на красном поле, достаточно сходный, но не совпадающий со св. Георгием; кстати, в Литве он встречается далеко не "повсеместно", во всяком случае не чаще, чем двуглавый орел в России.

Описание герба, подпись под гербом, т.н. Subscriptio — весьма характерный барочный жанр. Барокко вообще интересовалось иероглификой, герметическими знаками, и стихи, отдаленно похожие на стихотворение Бродского, сочинялись в Польше и Литве XVI-XVII веков в больших количествах. Писали их и по-польски, и по-литовски, и по-латыни. Конечно, Бродский сильно осовременивает и трансформирует старинную форму, которую он вряд ли специально изучал. Но какие-то ее черты он сознательно или бессознательно повторяет: это некая загадочность, совмещенная с риторическим рационализмом; это особенная подчеркнутость плана выражения — например, изысканное анаграммирование заглавного слова *герб*:

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий...
(ср. далее гяура и др.)

С другой стороны, несколько издевательский поворот темы в конце вряд ли мыслим для торжественного барочного жанра. И все же, несмотря на эту просторечную ироническую ноту, общий смысл стихотворения скорее серьезен: страна-то в прошлом имела отношение к чести и цели, к религии и культуре, вообще к мировому целому, от которого она сейчас оторвана и отчуждена. Есть, пожалуй, и еще один смысл: стихотворение о гербе относит-

ся не только к миру, описываемому текстом, но и к самому тексту. Герб повторяет важное свойство текста: нечто крайне существенное в тексте не дано, а лишь предполагается. Быть может, это — как мы уже говорили — обстоятельства возникновения текста; быть может, автор и слушатель; всего вернее — Бог.

После центрального четвертого стихотворения части цикла как бы проигрываются в обратном порядке. Пятая часть симметрична третьей, сходна с ней по настроению и теме. Это все тот же падший и блудный мир, распадающийся на глазах, лишенный глубины, данный метонимиями и крупными планами. Это мир отсутствующей коммуникации, несостоятельной телесной (сексуальной) жизни, несвободы и лжи, отчаяния и смерти. Пространство снова сведено к замкнутой комнате; подлинного движения и действия — то есть, подлинного времени — снова нет. Разница в том, что сцена сейчас не вечерняя, а ночная (любопытно, что "Литовский дивертисмент", как и некоторые другие вещи Бродского, охватывает полный суточный цикл — от полудня через вечер и ночь опять ко дню). "Меланхолия, мания и колтун" заглавия повторены в бредово-экспрессионистских (и наукообразных) образах текста: это как бы панорама телесной страны — той, о которой в другом стихотворении сказано: "Я думаю, внутри у нас темно".

Существенны здесь два момента, новые для всего цикла. Впервые является *второе лицо* — некое "ты", адресат. Трудно сказать, кто это — может быть, "друг философ" XVIII века, быть может, тот, кому стихи посвящены, быть может, автор, а быть может, мальчик из второй части, повзрослевший на пять-шесть лет и постаревший на сто. Повидимому, все они, вместе взятые, и никто из них. (Сравнение со знаком Зодиака — вероятно, вильнюсская реальность: на университетской обсерватории — того же XVIII века — изображены знаки Зодиака, в том числе нагие Близнецы). Одновременно с появлением адресата *начинает преодолеваться немота* предыдущих частей. Возникает *речь* — пока только "часть речи", неназванные слова женщины и одно слово, названное, но произнесенное, относящееся к внутреннему телесному миру, взятое в кавычки, как бы представляющее само себя; оно включено не в язык

происходящей сцены, а в язык ее описания. Характерно, что оно подготавливается фонетически: все его произнесенные звуки уже присутствуют в одной из предыдущих строк:

... некто в ледяную эту жижу
... ненавижу

Краткая шестая часть по крайней мере в двух отношениях симметрична второй. Если вторая часть давала временную перспективу, переносила на сто лет назад, шестая дает перспективу пространственную, переносит на несколько сот километров — на берег моря (тема моря — границы, края земли, преддверия иного мира — существенна для всего цикла и в сущности задана уже в первой его строке). Если во второй части была намечена тема изгоя, вечного жида в "сем христианнейшем из миров" — сейчас она развернута, дана в высокой библейской и отчасти античной тональности. Рассказчик, "путник в дюнах", обычный, даже ничтожный современный человек, не решающийся пересечь границу и все же предчувствующий, что ему придется ступить на воды, совмещается с псалмопевцем Давидом и — далее — со св. Петром. Это приближает нас к высокому взлету последней части.

Последняя часть — всего одна фраза, произнесенная на одном дыхании, обрывающаяся на полуслове, на полувздохе, на полу-, фонетически проведенная шепотом, еле ощутимым движением губ. Она замыкает стихи, полностью переворачивая их и преобразуя. В этом она сходна с последней частью "Натюрморта". Грамматически она построена на императиве — поэт по-прежнему видит себя со стороны, обращается к себе на "ты"; но, в общем, он уже нашел настоящего адресата, он не замкнут более в мире собственной личности, среди своих бесчисленных двойников. Падший город, бесконечно удаленный от неземного Града, все же оказался местом встречи с Богом. Ущербность и расчлененность мира преодолена; пространство разомкнуто *вверх*; это и есть подлинное *пересечение границы*, выход из абсурда, вступление в осмысленное время. Оно дается, видимо, ненадолго и каждый раз с огромным тру-

дом, но все же дается. Анти-речь, анти-диалог цикла прорывается сверх-диалогом, где вопрос или просьба есть в то же время ответ. Тот, кто понял, что по-своему ответствен за абсурд павшего мира, тем самым уже превозмог немоту, отсутствие связи, отсутствие собеседника, восстановил единство с мировым целым. Для этого достаточны четыре слога – единственные *произнесенные* четыре слога "Литовского дивертисмента", определяющие его суть. Слоги эти заранее предсказаны фонетически – как и четыре слога в ночной сцене. Все пространство цикла заключено между двумя кратчайшими фразами – ночной и дневной, абсурдной и осмысленной, произнесенной и произнесенной, говорящей о мире и говорящей о Боге. Между четырьмя слогами – и четырьмя слогами; между *ненавижу* и *прости меня*.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иосиф Бродский

ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Томасу Венцлова

1. Вступление

Вот скромная, приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: южане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком пешком,
порой на Запад забредают – тема
для скетча. Расстоянья таковы,
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов; человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

2. Леиклос *

Родиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции – за Веру,
Царя, Отечество, – а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блюя в Атлантику от качки.

3. Кафе „Неринга”

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, под-шафе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку лунцовый круг
замирает поверх черепичных кровель,
и кадык заостряется, точно вдруг
от лица остается всего лишь профиль.

И, веления щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4. Герб

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
коня и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Язычника? Гяура?
Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.

5. Amicum-philosophum de melancholia,
mania et plica polonica **

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозжечку стекло
в затылок, где образовало лужу.
Чуть шевельнись – и ошутит нутро,
как некто в ледяную эту жижу
обмакивает острое перо
и медленно выводит „ненавижу”
по прописи, где каждая крива
извилина. Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

6. Palangen ***

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и путник, сидящий в дюнах,
опускает глаза и сосет вино,
как изгнанник-царь без орудий струнных.

Дом разграблен. Стада у него – свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
И теперь перед ним – только край земли,
и ступать по водам не хватит веры.

7. Dominikanaj****

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

1971

*
Улица в Вильнюсе.

**
(Лат.) „Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне” Название средневековой книги, хранящейся в вильнюсской библиотеке

(Нем.) Паланга

(Лит.) „Доминиканцы” (костел в Вильнюсе)

М.Болховской

УТОПИИ В КОСМИЧЕСКИЙ ВЕК

(“Струфиан” Д. Самойлова, “И дольше века длится день”
Ч. Айтматова)

*”А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса”.*

Ахматова.

”Утопия” значит ”нигде”.

В 1516 году в Англии появилась книга — ”Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии”. Автор ее, Томас Мор, не был дилетантом в вопросах государственного устройства. Позднее он занимал даже высший пост в правительстве его величества, был другом короля, но был казнен им за то, что отказался признать властителя страны еще и ”властителем дум”.

В XVI веке Утопия, естественно, — остров.

Во второй половине XX века и Утопии, и Антиутопии перемещаются, как правило, в космос — вслед за полетом научной фантастики.

Я сам — закоренелый утопист.

В молодости я зачитывался Сен-Симоном, Фурье и Оуэном, как в детстве ”Таинственным островом” Жюль

Прислано из России.

Верна, предпочитая такого рода книги детективам, в которых Холмс или Мегре стоят на страже частной собственности, а майор Пронин или интеллигентный шпион Штирлиц блюдут государственные интересы.

Развитие социализма от утопии к науке мне пришлось по душе, но знакомство с "Капиталом" не только не помогло мне обрести место под солнцем, а напротив, выбило у меня из-под ног так называемую "почву". Я в упор не вижу, увы, Объективной Реальности, данной нам (свыше) в ... *отчуждении*, как ее ни называй — "народной коммуной" имени председателя Мао или "сельхозартелью" имени И.В. Сталина.

Завидую людям, которые чувствуют себя как рыба в воде в этом мире.

Сам я похож на двоякодышащую рыбу, из тех, что, по выражению Шмальгаузена, вылезают на берег, чтобы "отдохнуть от борьбы за существование".

Утопия — второе дыхание. Это "трансцендентальная" область, где есть место таким ценностям, как свобода, равенство, братство. Вдохнешь этого воздуха и назад — отстаивать малую толику справедливости в борьбе с "акулами равнин".

Но, быть может, сбудется наконец пророчество Анаксимандра, и Рыбы выйдут на берег, чтобы стать Людьми?

Д. Самойлов и Ч. Айтматов укрепляют меня в моих надеждах.

"Струфиан (Недостоверная повесть)" переносит нас в Таганрог 1825 года.

Глава нашего государства А.П. Романов совершает вечерний моцион, а некий Кузьмич, сочинивший "Благое намерение об исправлении Империи Российской", жаждет передать в руки Вождя свой труд. Они сближаются, но вдруг — "пах!" — между ними летающая тарелка. Глава государства исчез, Кузьмича на всякий случай упекли,

А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.

Такова сюжетная канва недостоверной повести ("День поэзии 1975").

Если 150 лет тому назад все это могло показаться чертовщиной, то зрители фильма "Воспоминание о будущем" и читатели многочисленных свидетельств о пришельцах из космоса отнесутся к таганрогскому чуду как к вполне возможному событию. "То ли еще будет", — поет Алла Пугачева.

Но меня интересует в данном случае не проблема непознанных объектов, а цитаты из трактата Кузьмича, предназначенного для вождей и, конечно, не прочитанного вождями.

"На нас, как ядовитый чад,
Европа насыпает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не станет девы с коромыслом,
Не станет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом.
И эта духа сухота
Убьет все промысла, ремесла.
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута".

"Дабы России не остаться
Без хомута и колеса,
Необходимо наше царство
В глухие увести леса —
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный..."

"Необходимы также меры
По возвращенью старой веры.
В никонианстве есть порок,
Который суть — замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок..."

В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон, —

На мой взгляд, "северо-восточный" проект Кузьмича — это антиутопия, как и сам он "Сен-Симон наоборот", подобно "генералу наоборот" у Гоголя. Это не значит, что я одобряю репрессии, обрушившиеся на Кузьмича. Порка, тюрьма, ссылка, как и выворачивание рук с доставкой в отделение милиции — мера, принятая в отношении к герою Шукшина ("Черты к портрету...") — это все *сибирские* методы идейной борьбы. А когда борьба ведется такими методами, уверяю вас, ее целью является не торжество прогрессивных идей, а нечто прямо противоположное.

Та же самая рука, которая круто расправится с Кузьмичом, пресечет и попытку декабристов европеизировать Русь.

"Николай Павлович, — скажет Герцен, — держал тридцать лет кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то..."

Если Кузьмич идеализировал старообрядчество в укор никонианству, то теперь модно идеализировать никонианство в укор марксизму — этой ереси, засланной на свяую Русь из Европы.

В чем причина появления и распространения в нас — из века в век — подобных взглядов, славянофильства, почвенничества, изоляционизма и национализма всевозможных оттенков?

Бытие, говорят, определяет сознание. Применительно к нам это означает: прочности границ российского государства соответствует ограниченность мышления. Граница на замке — на замке и мысль. И даже тот, кто восстает против нынешней политической и идеологической формы государства, сохраняет привязанность к его историческому существу.

Не мы одни болеем этой болезнью. "Чучхе" — учение Вождя-Отца Ким Ир Сена, "третье интернациональное" учение Брата-Вождя Кадафи и другие, растущие как грибы атеистические и теократические, но неизменно изоляционистские идеологии — тоже плоды *пленной мысли*.

Мне вспоминается в связи с этим заключительная строфа одного из самых космических стихотворений Пастернака:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сиу.

Ты — вечности заложник
У времени в плену

Что такое пространственно-временной плен мысли — это понятно. Но что означает ВЕЧНОСТЬ? Для религиозного человека тут, быть может, тоже нет вопроса, все ясно. Иное дело мы, не одаренные верой в бессмертие.

Так что же это: память о прошлом и забота о будущем? Идущая из тьмы веков и уходящая в "завтра" связь времен? То, что дорого мне независимо от того, "какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?"

Краток и быстротечен индивидуальный век.

Для иванов, родства не помнящих, за ним лишь "Великое Ничто". Народ и родина, род человеческий и природа для них — проекция собственного "я" на пустоту. "Пропали земля и небо, я на кочках проживу" — это тоже философия, и популярность ее объясняется железобетонной разобщенностью людей: не "города и веси", а *национальные тюрьмы и индивидуальные камеры* в них — разве можно отрицать тенденцию к такого рода сосуществованию на планете Земля?

"Не бейся головой в стену, — советовал Ежи Лец, — попадешь в соседнюю камеру". Пробриться от индивидуализма к национализму еще сравнительно легко. Но стать космополитом в наш космический век кажется почти невозможным. Не повсюду, конечно, а там, где граница на замке. Легко понять, что значит "отчуждение", трудно и, казалось бы, с каждым днем трудней сказать о себе: "Человек я, и ничто человеческое мне не чуждо".

Поэтому и воспринимаешь как чудо то, что должно было бы быть нормальным явлением, *свободную мысль и свободное слово*.

Помню, я жил на одном из захолустных островов Архипелага, ожидая конца срока, когда до меня дошел "Один день Ивана Денисовича".

Конечно, тогда еще "ветер с запада одолевал ветры с востока", еще продолжалась "оттепель", но со страниц этой повести веяло *непреходящей правдой, а не временными послаблениями*.

И вот теперь, когда, казалось бы, нечего ждать, кроме

продолжения "Целины" или нового (потустороннего) издания поэмы "Москва-Петушки" (прекрасная, кстати, пародия на северо-восточную ориентацию), 11 номер "Нового Мира" за 80 год дарит нам *День, длящийся дольше века*.

Киргиз о казахах на прекрасном русском языке и **МЫСЛЬ ГЛОБАЛЬНАЯ** — это ли не чудо?

Как появление "стены демократии" в замордованном Китае, как "Солидарность" в Польше, эта публикация вселяет в меня надежду, что и наше время — не бессрочное чередование пустых мгновений ("день да ночь — сутки прочь"), а "подвижный образ вечности", как говорил Платон.

"И книга эта — вместо моего тела, и слово это — вместо души моей..."

Чингиз Айтматов — великий поэт. Каждая деталь в его романе — и реальность и многозначная метафора. Я бы не взялся исследовать всю глубину его произведения, я лишь поведу речь о том, что лежит на поверхности, *об очевидном*, не замечаемом (и к счастью!) нашими критиками только потому, что они давно уже разучились доверять глазам своим.

Они видели в "Одном дне Ивана Денисовича" гимн труду. Этот же гимн труду они вычитывают в романе "И дольше века длится день".

Но обратимся к самой книге.

Действие разворачивается "здесь и теперь". Автор чуть сдвинул фантазией художника "исторически сложившуюся реальность", и вот уже в течение обыденной жизни зримо вторгаются и народная легенда, и общечеловеческая утопия.

Сары-Озеки, Серединные земли — не ищите их на карте. Нет нигде и такой железной дороги, что пересекала бы пустыню с запада на восток. И безостановочное движение поездов по этой магистрали, напоминание о котором звучит как рефрен, не значится в сводках ни одного управления железных дорог. Это художественный факт и обобщающий символ.

Так избитое противоборство западного и восточного ветров тоже ведь не имеет никакого отношения к движениям воздушных масс, изучаемых метеорологами.

Не стоит, конечно, в Тихом океане судно "Конвенция" — в точно одинаковом количестве километров и от Владивостока, и от Сан-Франциско. И нет в космосе постоянно действующей советско-американской станции...

Планета Лесная Грудь в романе Айтматова тоже не "факт" из коллекции ловцов "неопознанных объектов". Она такой же вымысел, как нигде не существовавший остров из "Золотой книги" Томаса Мора. И несет подобную же смысловую нагрузку.

Я перечислил, пожалуй, все фантастические элементы, включенные в ткань повествования, они включены в нее ненавязчиво, органично. И главное, эта в высшей степени правдоподобная фантастика обнажает вполне реальные, лишь скрытые от глаз трагические противоречия и конфликты нашей эпохи.

Каждый легко может себе представить, что будет, если великие державы пойдут до конца в конфронтации друг с другом: конец света — ни больше, ни меньше. Ну а противоположный вариант — не конфронтация, а *конвенция*?

В романе сверхчеловеки, стоящие во главе сверхдержав, сумели далеко уйти вперед в способности договариваться на "паритетных началах". Операция "Обруч" доказала это. Причем, надо полагать, что конвенция сопровождалась *конвергенцией*. Во всяком случае, в Соединенных Штатах должны были произойти какие-то внутренние изменения, чтобы правительство этой страны и весь персонал, сотрудничавший с советскими специалистами, так оперативно и в полнейшей тайне от некогда вездесущих средств массовой информации могли бы решать за американский народ (не говоря уж о других народах) быть или не быть контакту между планетой Земля и планетой Лесная Грудь. Должно быть, там, в Западном Полушарии, появились и набрали силу свои "кречетоглазые". Укрепился аппарат исполнительной власти, и правительство обрело значительно большую свободу в отношении налогоплательщиков, чем в прежние времена.

Так или иначе, но тайный военно-космический союз сверхдержав (Большого Бизнеса и Большого Государства) блокировал возможность осуществить на земле

утопические идеалы: устранение насилия, власти денег, эксплуатации человека человеком. "Обруч" опоясал Землю, чтобы все оставалось на ней "как есть". И тщетно будут взывать к разуму и совести человечества два парня, оставшиеся безымянными: "Паритет 1-2" и "Паритет 2-1". Земля не услышит этих эмигрантов, лишенных гражданства.

Их судьба напоминает судьбу Оппенгеймера во времена маккартизма и еще более трагичную судьбу Сахарова в наши дни.

В художественной модели мира, созданной Айтматовым, необычная система координат: не Гринвичский меридиан, а дорога с Востока на Запад, с Сарозекского и Невадского космодромов, как гигантские сторожевые вышки, вздымаются над землей, где еще царит колючая проволока, страшные для всего живого и безразличные к духовным запросам человечества Дредноуты Империализма и Гегемонизма.

Пусть простит меня Чингиз Айтматов за употребление слов, пущенных в обиход пекинской пропагандой и подхваченных националистами и изоляционистами различных мастей. Китай, куда бежали казахи из сельхозартели им. И.В. Сталина и откуда они просились назад, спасаясь от народных коммун им. председателя Мао, для меня так же, как и для автора романа "И долгие века длится день", совсем не "обетованная земля". Но как наши средства массовой информации режут правду-матку о китайском национал-коммунизме, так и Пекин находит порой верные слова для обозначения Объективной реальности, данной нам в... отчуждении.

Айтматов — не националист, он — гуманист в полном смысле этого слова. В центре созданного им мироздания стоит живой человек: Едигей, Казангап, Абуталип и те два, русский и американский парни, осужденные сверхчеловеками сверхдержав на космическую эмиграцию. Если бы судьба нашей страны и нашей планеты зависела от них, а не от кречетоглазых манкуртов, лишенных памяти и совести, мир был бы иным.

Только на смерть, — думает Едигей, — не может быть обиды. "За все остальное на земле есть и должен быть спрос".

”Спрос труженика, в сущности, — главная сила жизни, залог лучшего будущего”, — пишет критик Огнев о романе Чингиза Айтматова в ”Комсомольской правде” (14 января 81 года). Критик прав в ”сущности”, как прав поэт Вознесенский, воскликнувший как-то: ”Да здравствует научно-техническая, перерастающая в духовную!” Но чтобы эта сущность проявилась, чтобы на самом деле НТР переросла в духовную революцию, необходимо *посредствующее звено*, а именно политическая революция, подлинная, а не словесная *демократизация* всего жизненного уклада. Без этого ”звена”, без этого предварительного условия вера в лучшее будущее останется навсегда утопическим проектом.

Наивному читателю, как и критикам — присяжным оптимистам, кажется, будто старый казах с благородной душой и наградами за Отечественную войну на пиджаке может добиться в Алма-Ате *правды*, и растущий Сарозекский космодром отступит, чтобы сохранить для жителей разезда Буранного забытое всеми Сабитджанами родовое кладбище...

Увы, попытка Едигея обречена на неудачу. В романе Айтматова отсутствует ”хеппи-энд”. Роман ”И дольше века длится день” — это трагедия. Кто не может или не хочет понять этого, тому останется недоступным даже *очевидное* в прекрасном художественном произведении, подаренном нам под новый, 1981 год.

”Спрос труженика” может стать ”залогом” лишь благодаря СОЛИДАРНОСТИ тружеников, не только благодаря их давно воспетому трудолюбию, но и ПЕРЕРЫВАМ В РАБОТЕ, от которых содрogaются имущие власть.

Пока же по Серединным землям идут, как и прежде, составы — с запада на восток и с востока на запад, лисица подбирает отбросы, высоко парит степной орел, а человек, которому ничто человеческое не чуждо, остается гражданином Утопии.

Все остается как есть.

И.Серман

ГРИГОРИЙ ГУКОВСКИЙ

(1902-1950)

В апреле 1950 года, то есть более тридцати лет тому назад, в одной из камер главной тюрьмы Советского Союза, знаменитой Лубянки, как ее упорно называют в народе, хотя она наверное имеет какое-нибудь другое, официальное название, умер, к тому времени уже бывший, заведующий кафедрой русской литературы, бывший профессор филологического факультета Ленинградского университета, Григорий Александрович Гуковский.

Об этой смерти узнали очень не сразу и говорили о ней с большой опаской немногие, кто на это решался в узком кругу друзей или родственников. Жена Гуковского, Зоя Владимировна, была к тому времени в ссылке в Западной Сибири. Единственная дочь по вполне понятным причинам была бессильна что-нибудь сделать.

Обстоятельства его смерти до сих пор, в сущности, очень плохо известны. Когда лет через десять родственникам стало доступно следственное дело, то там оказалась лаконичная справка тюремного врача о том, что заключенный такой-то умер от сердечного приступа, так как не пожелал воспользоваться медицинской помощью. . .

К моменту ареста, летом 1949 г., Г.А. Гуковский был тяжело больным сердечником; мог ли он не захотеть воспользоваться медицинской помощью, помогла ли бы

она ему, если бы и хотел, как вообще осуществлялся на Лубянке вызов врача — не знаю, я сам там не бывал и не проверял по воспоминаниям тамошних сидельцев. По известным мне устным рассказам выходит, что сидели на Лубянке по двое или по трое, но никаких сведений о тех, кто мог быть с Гуковским в одной камере, у меня нет.

Неизвестно, где он похоронен и были ли какие-нибудь похороны.

Г.А. Гуковский немного не дожил до 48 лет, до 1 мая — своего дня рождения.

Так трагически оборвалась одна из самых поразительных по своей стремительности, яркости и плодотворности судьба ученого, удивительная для русской филологической науки 20-х гг., как никогда ранее богатой замечательными личностями и блистательными дарованиями.

В 1918 г. шестнадцатилетним юношей Г.А. Гуковский поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. В 1927 г. вышла его первая книга "Русская поэзия XVIII века". В ней словесно-поэтическая культура XVIII столетия была рассмотрена с точки зрения ученого-филолога, выросшего в эпоху свободного творчества великих поэтов XX века, — Блока, Маяковского, Ахматовой, — воспитанного на их поэзии. Молодой ученый в своей книге талантливо соединил умение понять пафос русской поэзии XVIII века в ее собственной динамике, обусловленной общим движением культуры, с точкой зрения человека XX века, который видит и знает, куда шло поэтическое движение эпохи Ломоносова-Державина и чем ему обязан Пушкин и послепушкинская поэзия.

Филологическая наука XX века своими достижениями и открытиями обязана не только талантам их создателей, но еще и их органической причастности к живому движению живой литературы. И тем из людей новой науки, кто, как Г.А. Гуковский, например, хотел понять прошлое в свете поэтической современности, нужно было взять все фактическое богатство, которое накопила русская историко-литературная наука с середины XIX века, с момента ее появления в России, и, в результате фронтального анализа литературного наследия XVIII века, обнаружить живое начало, двигавшее поэзией в ту эпоху. Надо было преодолеть

и дистанцию времени, и устарелость языка, и скудость вспомогательных источников (писем, мемуаров, критики), и сложившуюся уже в академической науке инерцию рассматривать поэзию XVIII века как исторический документ, лишенный всякого собственно поэтического значения.

Г.А. Гуковскому не понадобилось и десяти лет, чтобы в своей первой книге представить такую картину поэтического движения XVIII века, к которой и до сих пор мало удалось добавить принципиально нового.

О том, как он знал русский XVIII век, произошел любопытный разговор в 1966 г., когда отмечали семидесятилетие замечательного ученого, глубокого знатока литературы XVIII века, Павла Наумовича Беркова. В кулуарах юбиляр вспомнил о Г.А. Гуковском. Оба ученых много лет совместно работали в группе XVIII века Пушкинского дома и, при всем различии их натур, питали глубокое взаимное уважение. П.Н. Берков в шутку стал оценивать по принятой в России пятибалльной системе эрудицию более молодого поколения филологов, учеников Гуковского: "Вы думаете, что вы знаете восемнадцатый век?", — сказал, обращаясь к нам, П.Н. Берков. — "Вы знаете его на тройку, а вот Григорий Александрович знал его на пять!" Я возразил: "Но ведь вы, Павел Наумович, знаете его не хуже Григория Александровича". "Да, — ответил мне Павел Наумович, — но Григорий Александрович не только знал его, но и *понимал!*"

Именно установкой на *понимание* новая филологическая наука XX века отличалась от позитивистской науки XIX века, слишком часто довольствовавшейся регистрацией фактов в их эмпирической данности.

ОПОЯЗу принадлежит приоритет в формулировке новых задач филологии. И студент Гуковский, конечно, не мог не испытать на себе влияния первых сборников "Поэтика", но ближе всего ему оказался тот подход к поэтике в ее историческом развитии, который предложил в своих литературно-критических статьях и историко-литературных работах Виктор Максимович Жирмунский. Личная дружба и общность научной методологии рано связали их еще в университете, где Жирмунский учил, а Гуковский учился, и окрепла позднее, когда они оба работали в 1923-1928 гг.

в Государственном институте истории искусств в Ленинграде на Исаакиевской площади, наиболее значительном научном центре за всю историю филологии XX века, позднее в Институте Академии Наук (Пушкинский дом) и в восстановленном Ленинградском университете в 1934-1948 гг.

К своему аресту в июле 1949 г. Г.А. Гуковский был автором четырех фундаментальных монографий по русской литературе XVIII века и книги "Пушкин и русские романтики" (1946), изданной как первая часть задуманного им грандиозного труда "Очерки по истории русского реализма", который должен был охватить всю русскую литературу XIX века. Были уже готовы вторая книга о Пушкине и монография о Гоголе.

К 1950 году с научным наследием Гуковского уже было проделано все, что полагалось делать тогда с "репрессированными" и что сейчас продельвается с книгами и статьями эмигрантов. Упомянуть его имя или сослаться на него было запрещено, книги из библиотек изъяты или переданы в "спецхраны", уже отпечатанная книга "Пушкин и проблемы реалистического стиля" была отправлена в "котел", т.е. уничтожена.

Разумеется, это давало полную возможность находчивым и ловким личностям пересказывать идеи Гуковского, не ссылаясь на него, а известный московской скандальной хронике 1950-х гг. по так называемому "делу Александрова", — министра культуры с замашками шлейбоя, — С.М. Петров выпустил теоретический труд об историческом романе, в котором пересказал концепцию художественного реализма из уничтоженной книги Гуковского, которую он успел прочесть в рукописи в качестве ее официального рецензента.

Вынужденное молчание вокруг имени Гуковского продолжалось бы неопределенно долго, если бы не его величество Случай, к которому советская наука учила нас относиться так пренебрежительно.

Умер Сталин. Началась эпоха оттепели и реабилитаций.

Вернулся в 1955 г. из лагеря старший брат, Матвей Александрович Гуковский. Вернулась из ссылки вдова

Григория Александровича, Зоя Владимировна Гуковская. Дочь, Наташа, стала писательницей.

Надо было думать о воскрешении имени и печатании книг того, кто не вернулся.

Для других литераторов и ученых, умерших в заключении, процедура воскрешения имени была не очень проста, но осуществима. Родственники или друзья покойного добивались посмертной реабилитации, то есть отмены приговора, а затем — и публикации уничтоженных или так и не увидевших света книг.

Все это требовало сил и времени, но, как правило, удавалось.

С книгами Г.А. Гуковского получилось неожиданное затруднение. Издательства соглашались их печатать, но требовали от наследников справки о реабилитации. КГБ отказывалось такую справку дать, так как "за смертью арестованного дело было следствием прекращено". Не осужден — это, казалось бы, хорошо, — но и не оправдан, хотя арестован, а это уже сомнительно. . .

Издательские работники не знали, как им быть, и на всякий случай выжидали.

В конце концов общий дух оттепели победил, и в 1957 г. вышла вторая книга о Пушкине — "Пушкин и проблемы реалистического стиля", а в 1959 г. "Реализм Гоголя"; в 1965 г. была переиздана первая книга Гуковского о Пушкине. На Гуковского стали ссылаться, о нем стали писать. Все по видимости вернулось к той точке, когда жизнь и работа ученого были насильственно оборваны.

Книги вышли, были встречены с удовлетворением молодыми филологами, для которых популярность Гуковского у предвоенного поколения казалась загадочной и даже преувеличенной. Книги вышли и разошлись — но воскрешения в полном смысле не произошло.

Интересы вышедшего из летаргического духовного сна 1948-1953 гг. общественного сознания концентрировались на Достоевском и полузапретных или совсем запретных авторах. Поэтому, например, новая редакция книги Бахтина о Достоевском с ее сатирическим осуждением "монистического принципа" мышления оказалась созвучнее духу времени. На книгах Гуковского лежала печать

времени, когда они были написаны — предвоенного для книг о Пушкине, военного — для Гоголя, и это тоже мешало их более широкому общественному резонансу.

Для того, чтобы понять посмертную судьбу Гукковского, я попробую вернуть своих читателей в самую, бесспорно, мрачную эпоху новейшей русской истории — в 1930-е годы, когда популярность Гукковского, ученого и лектора, достигла своего зенита, когда факультетские аудитории, где он читал — № 12 или № 36, а позднее и большой актовъ зал, ломились от студентов и нестудентов, которые приходили на лекции о Жуковском или Гоголе, а уходили с мыслями и чувствами о чем-то, далеко выходящем за пределы лекционных тем и лекционного курса.

Итак, сначала о 1930-х годах вообще, а потом о наших тридцатых — в частности.

Стандартное восприятие этой эпохи в жизни советской культуры, благодаря огромному количеству мемуаров и публицистики, сводится иногда к картине большого террора во всех его вариантах и проявлениях. Действительно, начало моих университетских занятий в 1934 г. совпало с убийством Кирова, смысла которого мы не понимали, хотя твердо знали, что не Зиновьев и Каменев его организовали, ибо незачем им было это делать. Тогда же началась чистка Ленинграда от всех "бывших", сохранивших свое право на проживание после паспортизации 1932 г. С 1936 г. один за другим шли процессы в Москве и волны арестов прокатывались по Ленинграду, захватывали университет, где на философском факультете были посажены все профессора, а единственный уцелевший, доцент Розенштейн, получил у нас прозвище "последний философ Ленинграда". Факультет пришлось закрыть, а на нашем филологическом — из тысячи студентов была посажена десятая часть — все это и еще многое другое окрашивало время и жизнь вокруг особым чувством непрочности. Заглядывать вперед не хотелось. Защиты от этих новостей не было и дома.

Отчим мой, И.И. Векслер, научный сотрудник Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский дом) пришел однажды потрясенный и сообщил шепотом об аресте Ю.Г. Оксмана, виднейшего ученого-пушкиниста и заместителя директора Института, а за год до этого в Ин-

ституте была арестована группа аспирантов, о которых вообще боялись говорить, так как их обвиняли в том, что они хранили в подвалах Пушкинского дома оружие!!!

Мать моя, Г.Я. Векслер, работала несколько лет в редакции журнала "Литературный современник", редактор которого, М. Лозинский, стал жертвой одной из волн террора; ее уволили в 1937 г. с работы, и она всю зиму ждала по ночам, что придут и за ней. . . Но не пришли.

Когда террор становится бытовым явлением, то те, кого он прямо не захватил, начинают к нему привыкать и продолжают жить по кругу своих ежедневных интересов и занятий.

О себе и своих соучениках по университету этого времени (1934-1939) могу сказать, положив руку на сердце, что все наши мысли, все наши интересы концентрировались в университете. Когда я пытался в 1960-1970 гг. своим университетским студентам рассказывать о том, как мы жили университетом и университетской наукой, то я видел на их лицах вежливое внимание, но понимал, что они мне не верят. Для них университет был чем-то скучным, серым, как его аудитории, унылым и казенным, а жизнь шла вне университета и вопреки ему.

В университете мы находили ответ, естественно не прямой, а косвенный, на те вопросы, которые перед нами ставила жизнь.

В том биении мысли, которое сосредоточивалось для нас в университете, мы не искали ответа на вопрос: как надо жить? Об этом нам гудели всю нашу полусознательную и сознательную жизнь на разные голоса литература и кино. (Телевидения, к счастью, еще не было!)

Иностранные, "импортные" фильмы исчезли с экрана, и я совершенно непреднамеренно в университетские годы перестал ходить в кино, оно как-то отпало со своей бравурной глупостью и бессмыслицей.

Как жить — нам говорили так часто и много, что хотелось другого. И это другое мы нашли в университете в виде ответа на первоочередной для нас вопрос: *как научиться думать?*

На лекциях Г.А. Гуковского о русской литературе XVIII века, о Жуковском, о Пушкине или Гоголе мы учи-

лись думать, мы учились понимать, что процесс познания и самосознания может контролироваться только из самого себя. Сознание и самосознание в его историческом развитии даже на таком небольшом отрезке времени, от 1750-х до 1830-х гг., превращалось в полигон человеческого самосознания вообще.

Стихи XVIII века в чтении Г.А. Гуковского приобретали сегодняшнее звучание, с них слетала патина времени, исчезала дистанция, и ломоносовские строки — *там кони бурными ногами подьемлют к небу прах густой* — с их громоподобным звучанием выстраивались в памяти рядом со строчкой Батюшкова — *любви и очи и ланиты* — в едином царстве стиховой мелодии. Поэтическое слово, которое мы так физически ощущали, с которым привыкли жить, у Блока, Маяковского, Мандельштама, вдруг из самого себя превращалось в символ целого мира мыслей и страстей.

На лекциях Гуковского поэтическое слово становилось выражением истории, мира в его движении, человека в его борьбе с судьбой и смертью.

. . . *Что сердца моего товаров за деньги я не продаю* — читал Гуковский — лекция была о Державине. В лекциях судьба поэта становилась выражением его времени, а время — предчувствием великих исторических катаклизмов конца XVIII столетия.

Г.А. Гуковский читал стихи, он учил читать в стихах смысл, исторический контекст, остановившееся и одновременно неостанавливавшееся время.

И от всего этого захватывало дух потому, что возникал все углубляющийся разрыв между тем, чем жили мы, и тем, что шевелилось вокруг, где рядом официальная идеология праздновала свои сатурналии — вышел "Краткий курс истории ВКП(б)" — один из самых примечательных документов эпохи.

Книга вся печаталась главами в "Правде", потом вышла отдельным изданием; сначала сообщалось, что писала ее комиссия под руководством Ярославского, но сам товарищ Сталин ее проредактировал и написал два параграфа четвертой Философской главы. Потом было сообщено, что четвертая, "Философская" глава написана им целиком. После войны оказалось, что "Краткий курс" весь написан

великим корифеем и потому вошел в его собрание сочинений.

“Краткий курс” немедленно стали учить и прорабатывать во всех ротах, батареях, эскадронах идеологического фронта, а следовательно и в университетах. Отвечать нужно было как катехизис в церковно-приходских школах до 1917 г. — только буквально, а еще лучше — наизусть. Факультетские остряки перекладывали особенно понравившиеся места из него в стихи, а наиболее неуклюжие обороты и фразы дали материал для шуточного вопросника.

Принимать всерьез эту оруэлловскую утопию, обращенную в прошлое, где вся история России с конца XIX века благовестила о необходимости прихода спасителя — Сталина, — было, конечно, невозможно.

И как часто повторялось в истории России, в тридцатые годы XX века, как и столетием раньше, в XIX веке, жизнь рефлексии и самосознания сосредоточилась в далеких от тревог дня курсах и семинарах на историко-литературные темы.

Вместе с Гуковским мы прочитывали сцену с Юродивым, вместе с ним мы присутствовали, когда Дмитрий Самозванец слушал приветственные стихи на латинском языке и отвечал поэту с таким глубоким пониманием предназначения поэзии, что профессор даже склонен был слегка укорить Пушкина в модернизации поэтических вкусов русского человека начала XVII столетия. И действительно, Гуковский, пожалуй, был прав, когда находил, что слова Самозванца, обращенные к поэту:

Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает...

напоминают стихи Батюшкова.

Тогда это нам казалось неожиданным, смелым и точным определением. Современная наука может предложить некоторые дополнительные объяснения к этим стихам. Она может сказать, что это не просто Батюшков, а Батюшков в своих вольных переводах из Петрарки и что петраркизм был распространенной модой во всей Европе XV-XVI веков, почему и Самозванец мог в Польше получить вкус именно к такому поэтическому стилю.

Наука движется, и с нею усложняется наше представление о прошлом, и было бы очень плохо, если бы мы только повторяли то, что было впервые сказано Гуковским, но помнить, что именно он сказал и *когда*, в каких условиях времени — мы, пережившие освободительное влияние его лекций, — обязаны. Помнить сами и не дать исчезнуть памяти об этом.

Я написал "освободительное влияние" — и смутился от боязни, что мне не поверят. Не поверит советский читатель, воспитанный на самиздате, литературной контрабанде и "вражеских" голосах, не поверит западный читатель, широко осведомленный своей прессой о диссидентах, демократическом движении и всем прочем, что так характерно для эпохи олигархической безличности и стагнации режима в России.

И все же я настаиваю на том, что лекции Г.А. Гуковского при всем академизме их материала (XVIII век!) — и при полном отсутствии каких-либо намеренных в них намеков и сопоставлений прошлого и настоящего действовали освобождающе на сознание его слушателей. От них веяло свободой: свободой мысли, свободой оценки, свободой выбора, наконец.

Все это, конечно, происходило в строго очерченных самим ученым рамках, но без этой свободы его бы не было ни как ученого, ни как человека.

В чем эта свобода проявлялась, что в ней поражало нас больше всего? Во многом, если не во всем. Профессор любил повторять слова Юрия Тынянова о том, что ошибаются те, кто думают, будто наука движется от неизвестного — к известному, наука, — говорил Гуковский, — движется от известного к неизвестному. В этом суть университетской науки. Ее цель — ставить вопросы, будить мысль, заглядывать в море неизвестного, окружающего небольшой островок известных, то есть как-то объясненных, фактов и явлений.

Еще нас удивило на первых порах, а затем стало привычным, требование профессора, чтобы мы не только не принимали на веру его точку зрения, но и спорили с ним, опровергали его, думали сами и сами защищали свои гипотезы, свои предположения. Конечно, силы были неравны,

и мы это понимали, но невольно вовлекались в споры, а главное — привыкали к тому, что наука создается только в спорах, только в свободной игре мысли.

В стенах восстановленного в 1933 г. университета, когда надо было создавать наново университетскую науку, очень важно было, с чем эта наука встречала студента и куда она могла его повести.

Об этом вскользь сказано в одной из методических работ Гуковского, вышедшей в Ленинграде перед самой войной, в 1941 г.: "Кто не знает, что именно в художественной литературе молодые люди (как и немолодые) ищут помощи и наставления, материала для сочувствия и внутренней полемики в своих размышлениях и переживаниях. Кто не знает, что литература — это великий советник и организатор души человека" (1).

Литература художественная в России с XVIII века и до наших дней заменяет религию, которая в виде официального православия оказалась после раскола и Петра I совершенно неспособной дать ответ на вечные вопросы русской жизни. Литература это делала с XVIII века и чем дальше к XX-му, тем успешней. Поэтому талантливое слово ученого, который мог провести слушателей сквозь сложный, иногда архаически звучащий текст к его смыслу и значению, становилось прямым помощником и союзником "великого организатора души человека" — русской литературы.

Гуковский не предлагал нам верить ему или кому-нибудь другому из ученых авторитетов, не заявлял, что прав он, а все другие исследователи ошибаются. Он предлагал нам проникнуть самим в сердцевину вещи, а на себя брал скромную роль нашего проводника по лабиринту сцеплений, каким является каждое создание искусства. Приведу один, наиболее показательный пример того, как *свобода* исследовательского подхода перерастала в проповедь *свободы мысли*, независимости духа. В книге "Пушкин и русские романтики", хотя и появившейся только в 1946 г., были высказаны мысли, которые мы слышали на лекциях уже в 1937-1938 гг., то есть в самый разгар "чисток". Одну пятую часть этой книги занимают главы, отведенные В.А. Жуковскому. Сейчас в России Жуковский

прочно причислен к лику классиков. Его издают, о нем выходят книги, он признан и о нем не спорят. В 1930-е годы о Жуковском было точно известно, что он политический реакционер и религиозный мистик. В лучшем случае о нем можно было сказать, что он внес свой вклад в развитие русского стиха. А в остальном он явно не "наш".

Гуковский посмотрел на поэзию Жуковского не только с другой точки зрения, он измерил его другим историческим масштабом. Для него Жуковский жил и творил на центральном перекрестке европейской культуры XIX века: "В основной битве, занимавшей русскую культуру первой трети XIX века, в борьбе культуры, независимой мысли, европейского просвещения с казенщиной, мракобесием, полицейским духом, продажностью и официальным лакейством, Жуковский был на стороне независимых — объективно, силой вещей, силой своей личной культуры и воспитания" (2).

Прошу обратить внимание на то, с какой настойчивостью повторяется здесь утверждение о *независимости* литературной — следовательно и общественной — позиции поэта.

В 1946 г., в Саратове, до фронтального наступления, предпринятого по приказу Сталина уже летом этого года против культуры, книга Гуковского прошла беспрепятственно, годом-двумя позже этого произойти не могло.

В подтверждение этого позволю себе рассказать маленький эпизод из собственной литературной практики.

В 1966 г. отмечали в Советском Союзе двухсотлетие со дня смерти Н.М. Карамзина, писателя и мыслителя, гораздо лучше оцененного на Западе, чем в СССР. Самый скучный из ленинградских журналов, "Нева" заказал мне небольшую статейку о юбиларе. Я написал, она называлась "Литературное дело Карамзина", была принята и напечатана. Предварительно мне показали мою статью с тремя очень небольшими поправками заместителя редактора Георгия Некрасова. В трех местах моей заметки, где в разных выражениях проводилась мысль, что на всем литературном пути для Карамзина всего важнее была писательская *независимость*, недрогнувшей редакторской рукой эта несложная мысль в прямой формулировке была вычеркнута. А

ведь это был не 1936, а 1966 год, и героем был Карамзин, а не Пастернак, но вредные мысли всегда вредны, кто бы за ними ни стоял.

Возвращаюсь снова в 1930-е годы, к книге Гуковского. Жуковский был у него представлен как поэт личностного начала, для которого высшей ценностью было индивидуальное личное бытие: "Святейшее из эваний человек" — это единственный подлинный лозунг творчества Жуковского эпохи его расцвета" (3). И после этих суждений уже не казалась парадоксом мысль ученого о том, что "стиль Жуковского в своем психологическом идеализме поставил во главу мира человека, личность, — и это была борьба за свободного, хотя бы в идее, человека" (4).

Как это было "вредно" и "опасно" для первого в мире социалистического общества, нам объяснили только в 1949 году, но и тогда мы еще не понимали всю правоту этой критики. Эти мысли были действительно вредны, а их носители — опасны.

Но в университетские годы мы, слушатели Гуковского, не задумывались о будущем и жили в этом мире идей, отгороженном от исторической действительности и от того, чем она угрожала.

В университетской аудитории очень важна форма общения, которую избирает профессор. Гуковский свой первый университетский курс истории русской литературы XVIII века читал нам, и было ему 33 года. Это нас удивляло, но еще больше нас удивляло полное отсутствие дистанции между профессором и студентами, простота, легкость и непригужденность отношений. Профессор не нес в себе торжественности, не становился на незримый пьедестал, он просто и естественно жил со своими героями, со своими поэтами XVIII века, и с нами, его студентами, одновременно.

На его личности и в его поведении восстанавливалась и утверждалась связь времен, а как это было важно, может понять только человек, который вырос в атмосфере ликующего разрыва с прошлым, со всей культурной традицией, и привык повторять самонадеянные слова Энгельса о том, что пока еще была только предыстория человечества, а история начнется лишь при социализме.

Люди XVIII века в лекциях Гукковского жили своими страстями и своими интересами. Ломоносов презирал стихотворцев и прославлял науку, Сумароков ненавидел чиновников, Фонвизин умел найти смешное даже в незатворяющихся дверях соседского дома. У каждого из них были в жизни свои драмы, свои радости и горести, свои удачи и провалы. И ничего из того, что их окружало, кроме царственной красоты города*, уже не существовало, все безвозвратно ушло в прошлое, все заволокло туманной мглой, — как казалось нам тогда. Лет через пятнадцать, уже с военным и послевоенным опытом, увидел я, что не так уж много изменилось, и что "дома новы, а предрассудки стары", и прошлое, притом не только восемнадцатый, а шестнадцатый век живут и в нас, и с нами. Как писал радикальный русский публицист Шелгунов в 1860-е гг., в России нет новых вопросов, все вопросы старые, вечные и неразрешимые.

Тогда, в конце 1930-х гг., мы этого не понимали и об этом не думали.

Лекции Гукковского давали другое ощущение, они приближали нас к прошлому, а не прошлое к нам. Но и это было страшно важно. Мы получали материал для аналогий и методiku мышления культурами, а не формациями и социологическими схемами, которыми до сих пор забивают головы советских студентов.

Современной культурологии с ее аппаратом и терминологией тогда еще не существовало нигде. Но русская филологическая наука, в той ее части, которая прошла через школу русского формализма, выработала для себя сознательно культурологический подход. В 1940 г. Г.А. Гукковский и В.М. Жирмунский предложили в качестве методологического приема так называемый стадийный подход к истории всемирной литературы. Предполагалось, что разные национальные литературы проходят (как правило) одинаковые стадии литературного развития, но разновременны, и что это хронологическое несовпадение не препятствует со-

* Окна аудитории выходили на Неву, а на другом берегу были видны Медный всадник, Адмиралтейство, Сенат, площадь, на которой разыгралась трагедия декабристов, Исаакиевский собор.

поставительному анализу французского классицизма XVII века и русского классицизма XVIII века, поэзии провансальских трубадуров и персидской поэзии X-XII веков.

Теория стадиальности противостояла тому культурному китаизму, который все более и более утверждался в официальной пропаганде превосходства всего русского и достиг своего апогея в последние годы правления Сталина. Вот почему эта теория, при всей своей внешней безобидности, оказалась самым тяжким обвинением против Гуковского после его второго и рокового ареста.

А первый раз Гуковского арестовали в блокадном Ленинграде в начале октября 1941 года, одновременно с В.М. Жирмунским. На этот раз оба отделались сравнительно легко, просидели около двух месяцев и были выпущены. Я был у Гуковского дома сразу, как только мне стало известно о его возвращении. Это был конец ноября, все частные телефоны в Ленинграде были отключены, городской транспорт совсем перестал работать, на улицах стояли засыпанные снегом троллейбусы. Из ленинградского радиоцентра, где я тогда работал, до 13 линии Васильевского острова было около двух часов хода. Воздух в городе был удивительно чист, заводские трубы не дымили. Морозы начались в середине октября, не было привычной для этого времени года ленинградской слякоти. Ночи были лунные, и пустынный с вечера город походил на декорацию к "Пиковой даме".

Гуковский жил в одном из немногих в этой части города деревянных домов с печным отоплением. Дрова еще были. Он жил один: жена и дочь были эвакуированы летом. Встретил он нас как всегда оживленно, о тюрьме не рассказывал, только сказал, что было очень голодно. Поскольку мы все получали в день по 200 грамм хлеба и тарелку супа, не известно из чего сваренного, то мы легко себе представили, какая могла быть тюремная кормежка в голодающем осажденном городе.

Тогда нам казалось, что его арест — это недоразумение и что растерявшиеся в непривычных условиях "органы" не знали, что им делать, и потому, например, арестовали В.М. Жирмунского за то, что у него был план Ленинграда на немецком языке (!).

Гуковский оставался в Ленинграде до февраля 1942 года, когда снова началась эвакуация и он вместе с университетом попал в Саратов. Позднее, с 1946 г., в Ленинграде Гуковский снова стал заведовать кафедрой русской литературы, писал книгу о Гоголе, завершённую в 1948 г., читал лекции, был весь в новых замыслах. . . В тот самый год, когда Г.А. Гуковский вернулся в Ленинградский университет, началось новое наступление по идеологическому фронту, чтобы законопатить ту маленькую форточку в Европу, которая приоткрылась во время войны. В 1946-1947 гг. страна голодала, а против голода, как считал Сталин, было верное средство — борьба с культурой. Начался ждановский культуркампф с его известными "постановлениями", анафемой Зощенко и Ахматовой и т.д. Несмотря на все усиливающийся недостаток кислорода, надо было работать. И Гуковский читал лекции, писал, печатал главы о Гоголе. Одна из них под названием "К вопросу об образе повествователя в "Миргороде" Гоголя" появилась в "Ученых записках" Ленинградского университета в конце 1948 г. и, если я не ошибаюсь, это было последнее прижизненное появление Гуковского в печати.

Я слышал чтение этой главы в Пушкинском доме на заседании сектора новой русской литературы. Были споры и резкости, запомнилось, что ожесточеннее всего докладчик отвечал на выступление Б.М. Эйхенбаума. В целом у меня сложилось впечатление, что "старики", то есть старшее поколение ученых, недовольны главой и даже враждебно относятся к ее идеям. Теперь, перечитывая книгу о Гоголе в целом, я понимаю и враждебность старших, и недоумение более молодых. В книге о Гоголе происходило преодоление самого себя предвоенной эпохи. По мнению Гуковского, "Гоголь первый стремился создать образ автора, носителя рассказа — не личный, не индивидуальный, а выступающий от имени социальной общности, в конце концов от имени народа, как единства коллективной личности" (5). Такое "более совершенное и более демократическое решение" этой художественной проблемы означало, по мысли исследователя, что в творчестве Гоголя русское художественное самосознание расстается решительно с наследием романтизма, находит положительное решение из-

вечного конфликта части и целого, личности и народа и превращает русскую литературу XIX века в художественное предвозвещение социалистического строя, созданного в Советском Союзе, где слияние личностей в народ, в коллектив было и содержанием и целью процесса, начавшего осуществляться в октябре 1917 года. По убеждению Гукковского, Гоголь "хотел описать Россию не с узкой точки зрения одного человека, а в ее целостности, охватывая единым взглядом то, что не может сразу увидеть один человек, но что может видеть и видит разом весь народ, вся нация, как он думал" (6).

Не буду судить о том, насколько доказательно это, как мне и тогда казалось, парадоксальное высказывание.

Сейчас я понимаю, что это была судорожная попытка ученого в понятиях своей науки ответить самому себе на неизбежно возникавшие у него сомнения в том, что происходило вокруг и о чем он не мог не думать и чего не мог не страшиться. Я уже напомнил читателям о ждановском походе на культуру. В 1947 г. добрались и до филологической науки. Газета "Культура и жизнь" начала поход против великого русского ученого-филолога конца XIX века Александра Веселовского и тех советских ученых, которые вслед за Веселовским считали сравнительно-исторический метод естественным подходом к художественному развитию человечества.

Веселовский и его наука были объявлены "буржуазными" и враждебными марксизму идеологическими явлениями. Пущено было в ход словечко "космополитизм", которое позднее стало боевым кличем погромщиков-антисемитов. Правительственный антисемитизм, — кульминацией которого стало "дело врачей", — начал заявлять о себе открыто именно в 1948 г.

Если мы представим себе, что книга о Гоголе продумывалась и писалась именно в это время, то может быть мы поймем, что же хотел объяснить самому себе Гукковский, когда искал в прошлом психологическую ситуацию, которая помогла бы ему понять и принять советскую современность в самых ее отвратительных и противочеловеческих проявлениях.

Книга Гукковского о Гоголе — это последний всплеск

той волны, которая подняла на своем гребне "Зависть" Олещи, "Смерть Вазир-Мухтара" и "Второе рождение", "Воронеж" Мандельштама и многое другое в советской литературе 20-30-х годов, что тогда называлось проблемой "интеллигенции и революции", а на самом деле отражало муки личности, которая честно хотела понять и принять систему всеобщей социальной нивелировки, кульминацией которой были чистки 30-х годов.

Принять — значило допустить, что есть некий коллективный разум, который решает за человека — разум, которому понятна историческая необходимость, недоступная отдельной личности.

Уже в книге "Пушкин и русские романтики" Гуковский писал, имея в виду, конечно, Пушкина: "Кучка благородных революционеров, людей книги, людей пафоса и индивидуально, субъективно убедительных идей, предстала ему как малый островок в безбрежном море народной жизни и косной государственности российской империи". Здесь уже намечается путь к мысли о безусловном превосходстве коллективного сознания народа над индивидуальной идеей протеста, ибо это народное сознание есть и субъект и одновременно объект истории, и воплощение исторической необходимости и ее выражение. . .

К 1949 году Г.А. Гуковский еще больше утвердился в этих мыслях. В нашу последнюю встречу он высказал их со свойственной ему вообще силой убежденности. Случилась эта встреча в конце февраля 1949 года, а в начале этого же месяца "Правда" дала сигнал в редакционной статье и по всем городам, университетам, журналам и театрам развернулась яростная кампания травли "безродных космополитов".

Мы шли по Университетской набережной. Был сильный мороз, который на открытых просторах Невы и ее набережных всегда сопровождается лютым ветром и от него не спасает никакая самая теплая шуба.

Мы очень давно не виделись и набросились на него с возмущенными возгласами по поводу этой статьи в "Правде" и ее последствий.

"Вы ничего не понимаете, — сказал он нам, — ведь это поворачивается колесо истории!". Я довольно сердито ска-

зал ему, что колесо не останавливается и будет поворачиваться дальше. "По нашим костям!" — добавила моя спутница.

Мы расстались, так и не найдя общей точки. Больше мы его не видели, это был наш последний разговор.

В книге о Гоголе была сделана попытка найти исторические корни "роевого" начала русской жизни. И как опыт проникновения эта книга должна была бы интересовать историков общественной мысли не меньше, чем памфлетные изображения "монистического" принципа мышления во втором издании книги Бахтина о Достоевском или его же сатира на догматическую серьезность сталинской системы миропонимания в книге о Рабле.

Но стремление понять переходит у Гуковского в оправдание и апологетику. Гоголь-сатирик становится потом высоких душевных свойств русского человека, а "Мертвые души" из зеркала пошлости пошлого человека превращаются в героический эпос.

Книга о Гоголе — это зрелище трагических мук таланта, который хотел сделать невозможное — преобразовать пошлую, грязную и кровавую практику бюрократического тоталитаризма в этические формы соборного самопознания. Книга в этом смысле противоречива и двойственна. Удивительные по проникновению страницы и главы ни за что не хотят подстраиваться под ее генеральную линию. В анализе "Записок сумасшедшего", например, с абсолютной точностью и достоверностью показано, во что превращается человек, если у него отнимут поэзию, игру воображения, свободу самовыражения в песне, танце, любви, войне, словом, если человек задушит, заспит в себе художника. Книга Гуковского о Гоголе — это анализ созданного Гоголем мира, из которого исчезла совсем или вот-вот совсем исчезнет красота, ее трагические поиски, пути к ее возрождению. Когда Поприщин нормален, то он легко живет в мире абсурда, когда он сходит с ума, он видит и слышит такое, о чем и не подозревал — тут и Италия, и "струна звенит в тумане". Именно в этом сопоставлении пошлого человека и поэзии, которая в нем пробуждается только в момент гибели, сила книги, того, что на самом деле есть в Гоголе, а не в навязанной ему конформистской идее.

А кровавое колесо истории поворачивалось. С января 1949 г. мы ждали ареста и, как свойственно многим, надеялись, что пронесет. 6 апреля меня арестовали. Обстоятельство это, важное, в основном, для меня лично, я упоминаю потому, что по этой причине я не мог присутствовать в середине апреля на большом (общеуниверситетском) ученом совете, где должна была решаться участь главных университетских филологов-космополитов. И все, что происходило в Ленинграде и вообще на материке в 1949-1953 гг., дальше мне известно уже только по рассказам очевидцев. Ученый совет в данном случае имел чисто зрелищное назначение. Надо было показать студентам, которые переполнили зал, что их любимые профессора, все эти космополиты, несли им не науку, а духовную отраву, "лили воду на мельницу", осуществляли "идеологическую диверсию" и т.д. К позорному столбу были поставлены М.К. Азадовский, Г.А. Гуковский, И.П. Еремин, В.М. Жирмунский, Б.М. Эйхенбаум. Заранее были распределены роли между разоблачителями. Центральным моментом действия должно было стать, по замыслу его устроителей, разоблачение Г.А. Гуковского. Он заведовал кафедрой русской литературы, он был популярен у студентов, его место в филологической науке уже не могло быть оспариваемо — по всем этим обстоятельствам удар наибольшей силы следовало нанести ему, и тогда русская литература на филологическом факультете была бы вырвана из еврейских рук. . .

Главные организаторы проработки и дирижеры заседания ученого совета, новый декан филологического факультета, Г.П. Бердников, и А.Г. Дементьев (7), тогда еще профессор факультета, но уже фактически ставший главным партийным эмиссаром Ленинградского обкома КПСС по искоренению космополитизма, решили, что против Гуковского следует выпустить человека с ораторскими данными и близкого к Гуковскому лично и по научным интересам. Выбор пал на Г.П. Макогоненко, талантливого ученика Г.А. Гуковского, тогда в 1949 г. молодого доцента, а ныне одного из виднейших советских литературоведов. Г.П. Макогоненко, хотя он и не был членом правящей партии, был вызван в партбюро факультета и соответствующим образом проинструктирован. . .

Организаторы зрелища ждали, что Макогоненко, как и прочие ораторы, повторит весь набор фраз, которые полагалось высказывать по адресу идеологических контрабандистов-космополитов.

Режиссеры действия рассчитывали еще и на дополнительный эффект от выступления Г.П. Макогоненко: ведь он должен был совершить двойное предательство — разоблачить своего учителя и себя как его ученика.

И Г.П. Макогоненко выступил — но к удивлению и гневу режиссеров постановки он заговорил о слабостях советской историко-литературной науки вообще, о необходимости поднять ее методологический уровень, улучшить, заострить и т.д. Со свойственным ему красноречием оратор громил анонимных литературоведов, обрушивал на них весь запас ходовых словесных блоков и кончил. . . так и не назвав ни разу ни одного имени. Получился конфуз, которого, конечно, не ожидали. Срочно пришлось давать слово дополнительным разоблачителям, но они не были готовы, не умели говорить перед огромной аудиторией и провалили эту часть сценария.

Конечно, этот эпизод ничего не изменил в судьбе Гуковского. Он и все названные космополиты, за исключением И.П. Еремина, были уволены из университета, надо было искать работу, но пришло лето, и Гуковский с семьей уехал под Ригу отдыхать. Там он и был арестован.

Когда в начале 1960-х гг. удалось добиться переследствия, то меня попросила З.В. Гуковская съездить и поговорить с одним из свидетелей обвинения Владимиром Днепровым (Резником), очень известным в Советском Союзе автором книг по философии современной литературы.

В молодости Резник был партийным деятелем, примыкал к "право-левацкой группировке Шацкин-Луминадзе", отсидел свое, после отсидки жил в Саратове, потом вернулся в Ленинград и снова был арестован в конце 1948 года как космополит (вышел он где-то в 1955-1956 гг.). Резник мне объяснил, что его таскали на допросы после тяжелейших сердечных приступов и что он, конечно, откажется от всех своих показаний против Гуковского, что он и сделал.

Другой свидетель обвинения, тот самый Г.П. Бердников, который председательствовал на "историческом" ученом совете, от своих показаний не отказался. В 1949 г. он на следствии говорил о "теории стадиальности" как о самом прямом выражении космополитических, идеологически враждебных социализму взглядов Гуковского, как о враждебной диверсии американского империализма. Повторил он эти показания снова, нисколько не смущаясь тем, что теперь это может стать известно всем, кто помнит Гуковского, и что его общественная и научная репутация пострадает. . . Но Бердников ничего этого не боялся — и был прав.

С Бердниковым мы учились вместе на филологическом факультете пять лет в одной группе, не то, чтоб дружили, но и не враждовали. Человек он умный, и жизненный опыт научил его разбираться в людях и делать ставку наверняка. В Университете ему мешала делать политическую карьеру посадка отца по какому-то "бытовому", то есть торговому делу. На войне он попал в одну из самых кровавых мясорубок Ленинградского фронта, был ранен, уцелел, вступил в партию. Вернувшись из армии, стал аспирантом профессора П.Н. Беркова, писал диссертацию о Чехове и стал делать политическую карьеру в обстановке 1946-1949 гг.

Г.А. Гуковский был популярен среди молодежи филологического факультета, и дом его был широко открыт для нас. Бердников в эти годы в доме Гуковского был своим человеком. Даже защиту своей диссертации от отмечал дружеской пирушкой у них. И все было очень хорошо до того момента, когда в 1948 г. Бердников пришел к Гуковскому советоваться — принимать ли ему, только что защитившему диссертацию аспиранту, пост декана филологического факультета. "Вы сошли с ума, Георгий Петрович, — закричал на него Гуковский. — Вы же невежественный человек, как вы можете об этом думать". Не знаю, что ответил Бердников, но пост он принял, а обиду запомнил. Вероятно, помнит и до сих пор.

Не знаю, появляются ли у него сомнения, раскаивается ли он в своем предательстве. Скорее всего — нет. Он давно уже на важном цеховском посту, отказывается менять

его на директорство в Пушкинском доме, стал директором Института мировой литературы и членом-корреспондентом Академии Наук СССР, которая ухитрилась не заметить и не включить в число своих членов ни Томашевского, ни Эйхенбаума, ни Проппа, ни Бахтина, не говоря уже о Гуковском. Он выпускает книгу за книгой — почему-то о Чехове, хотя, зная этого человека, не могу понять, зачем ему понадобился Чехов и что он в нем нашел. Возможно, конечно, что он самого себя считает жертвой бюрократической рутины, чеховским мечтателем, дядей Ваней, который вынужден трудиться на бездарного Серебрякова? Не знаю, слишком мало у меня было случаев проникнуть в душу современного советского бюрократа.

И все же в "деле" Гуковского осталось много загадочного. Сегодня даже мне, хорошо знакомому по собственному опыту с советской юриспруденцией 1949 г., как-то не верится, что "теория стадиальности" одна, сама по себе, обусловила арест Гуковского. Ведь одновременно был арестован Матвей Александрович Гуковский, который, конечно, был братом своего брата, но к "теории стадиальности" никакого отношения не имел. . .

Возможно другое — Матвей Александрович был близок к тогдашнему ректору Университета А.А. Вознесенскому, родному брату Н.А. Вознесенского, одного из самых страшных сталинских сатрапов военного времени. "Персона брата", — назвал ректора наш покойный друг, А.Г. Левинтон.

Когда в начале 1949 г. "загрел" Н. Вознесенский и началось так называемое "Ленинградское дело" — последняя сталинская внутрипартийная чистка — был арестован ректор Вознесенский и, может быть, по своим отношениям к нему братья Гуковские.

Повторяю, все это только предположения, но я о них вспоминаю для того, чтобы читатель лучше мог себе представить, что делалось в Ленинграде 1949 года и почему Гуковский должен был погибнуть. Его надо было "изолировать", и это сделали по смехотворному, даже по тогдашнему времени, обвинению. При этом хочу будущему историку указать на одно любопытное совпадение. Гуковский уже сидел, но был еще жив, а в ленинградском журнале

”Звезда” в сдвоенном 7-8 номере за 1949 г. появилась статья Ф. Абрамова и Н. Лебедева, в которой повторялось все, что говорилось на Ученом совете и в качестве главного идеологического обвинения фигурировала, конечно же, злополучная ”теория стадиальности”. На всякий случай для того же будущего историка даю справку об авторах. О Лебедеве помнит только университетская скандальная хроника. Коля Лебедев учился с нами вместе на одном курсе, студент был слабый, больше пил, чем занимался, но стал в войну членом партии, вернулся в аспирантуру, охотно включился в борьбу против космополитов и плохо, но выступил против Гуковского на Ученом совете. За это был сделан директором Университетской библиотеки, прославился зоологическим антисемитизмом, пил все больше, удивил университетских пьяниц тем, что укусил за ухо милиционера, и в конце концов в пьяном виде погиб под машиной. . .

Федора Абрамова сегодня знают все, кого интересует деревенская тема в советской литературе. Он действительно популярный писатель, что вынуждено было признать и начальство, которое сделало его лауреатом каких-то премий. Абрамов — человек с талантом, в котором его деревенское детство и отрочество оставили жар ненависти и память об этом мире унижения и нищеты. До поры до времени эта злоба находила себе выход в разных формах, в неприязни к студентам из потомственно интеллигентских, преимущественно еврейских семей, потом в разоблачении космополитов. Но психологическая травма, нанесенная коллективизацией, оставалась и не заживала. Она толкала на поступки, которые ни Лебедев, ни Бердников не были способны совершить.

После войны Абрамов стал аспирантом Ленинградского университета и, несмотря на то, что занимался он Шолоховым (”Коммунисты у Шолохова”), то есть темой, далекой от научных интересов Гуковского, сам пришел в дом к профессору, сам хотел в нем бывать и слушать. И я уверен, что вовсе не по заданию органов. . .

Думаю, что и в проработке Гуковского он участвовал более по обязанности, чем по собственной воле.

Много позднее он уверял, что статью против Гуков-

ского писал не он и что его заставили ее подписать. Допускаю и это, ибо в 1954 г. имя Абрамова прогремело на весь Советский Союз совсем по другому случаю! С его подписью в "Новом мире" была напечатана статья "Деревенская тема в советской литературе", в которой дана была беспощадная оценка казенной литературе 1948-1953 гг., изображавшей расцвет колхозного строя и поющее и пляшущее колхозное племя. Статья по тому времени была необыкновенно смелой, кажется, что она послужила одним из поводов к первому снятию Твардовского с редакторства, но в судьбе самого Абрамова она стала поворотным пунктом. Он расплевался с университетом, где делались по старой памяти робкие попытки его "проработать", и ушел в литературу.

Если он грешен чем-либо против Гуковского, то во всяком случае он искренне раскаивается, а это уже много.

Память о Гуковском заглушить не удалось, и в Советском Союзе он вполне официально признан. Почти десять лет тому назад состоялось, как сказано в официальном журнале, "научное заседание сектора новой русской литературы, посвященное 70-летию со дня рождения известного советского ученого Григория Александровича Гуковского" (8).

Отчет в журнале верно передает содержание выступлений и докладов, но он не мог по своему назначению и месту публикации передать общую атмосферу чинности и благополучности, которая придавала этому заседанию налет вполне официальной скуки. Все было по форме вполне пристойно. Зал заседаний Пушкинского дома был полон, хотя и не переполнен, то есть заняты были все стулья, но не стояли сзади, не толпились в коридоре, не надо было включать трансляцию. Преобладали не очень молодые и не очень старые люди. И не было молодежи, студентов 1970-х гг. Вспоминатели добросовестно старались передать слушателям свои впечатления от Г.А. Гуковского-лектора, говорили о его ораторском таланте. . . Слова скользили мимо или вопреки желаниям звучали двусмысленно.

Один из мемуаристов, академик М.Б. Алексеев, объяснял, что Г.А. Гуковский импровизировал свои лекции, то есть не готовился к ним. И, зная манеру самого мемуа-

риста читать по тщательно подготовленным и подробным конспектам, слушатели были вправе подумать, что ничего хорошего в этих импровизациях не могло быть...

Идея "импровизированности" работ Гуковского неожиданно прозвучала и в докладе, посвященном работам Гуковского о Гоголе. От книги "Реализм Гоголя", по мнению докладчика, "веяло духом свободной импровизации" (9) — замечание удивительное для тех, кто слышал эту книгу в лекционном изложении ее автора за много лет до того, как она была написана.

Гуковский никогда не "импровизировал", ибо всякое его на первый взгляд неожиданное и даже парадоксальное суждение всегда являлось итогом многолетнего обдумывания.

Конечно, его мысль работала во много раз быстрее, чем у среднего исследователя, но эта скорость, близкая к скорости света, достигалась не за счет "импровизации", а за счет способности понимания того сложного лабиринта сцеплений, каким является литература.

Представление об импровизированности суждений и научных оценок в книгах Гуковского чем-то характерно для современного состояния умов в филологической науке в Советском Союзе вообще. К 1970-м годам литературная критика и литературная наука потеряла монополию выражать самосознание, быть барометром состояния культуры. Самиздат стал естественным полем для высказываний по проблемам политики, философии, религии. Науке о литературе, тем самым, как будто отводилась та скромная роль, которую она выполняет в демократических странах при собственно литературе, обобщая опыт живого творчества.

В Советской России, конечно, все это крайне затруднено официальной идеологией и ее стремлением превратить допущенную к печати литературу и сопутствующее ей литературоведение в еще одну форму пропаганды.

Сегодня разрыв между наукой о литературе и тем брожением умов, которое в России происходит, все усиливается. Именно поэтому книги Гуковского, в которых литература прошлого в ее самых художественно совершенных формах служила средством познания и, как теперь мо-

жет показаться, оправдания в историческом смысле той эпохи, жертвой которой пал Г.А. Гуковский, сегодня "не доходят".

И об этом надо сказать, скрепя сердце, правду. Они "не доходят" до тех, кто в понятиях "народ", "история", "субъект истории" видит только аналог с официальной квазинаучной демагогией. Они "не доходят" до тех, кто сегодня воскрешает традиции позитивистской науки конца XIX века с ее принципиальным отказом от всякой попытки концептуальности, то есть осмысления фактов.

Они неприемлемы и для неославянофилов потому, что проникнуты духом космополитизма и пафосом европеизации, от которых Гуковский никогда не отказывался.

Вот почему на заседании памяти Гуковского вспоминали не о том и не то. Теперь я думаю, что это было несчастливо и что время, когда вспомнят по-настоящему о Гуковском, еще придет.

Несколько лет тому назад умерла вдова Гуковского, Зоя Владимировна. Она похоронена в Комарове под Ленинградом, на кладбище, которое стало знаменито с 1967 г., с тех пор как на нем могила Анны Андреевны Ахматовой. На могильной плите надпись: "Григорий Александрович и Зоя Владимировна Гуковские" и даты жизни и смерти. Здесь и на самом деле мог бы лежать Г.А. Гуковский после смерти, если бы колесо истории не проехало по нему как и по многим другим и не лишило его даже могилы. . . В 1979 г. здесь похоронена и дочь Г.А. Гуковского — Наталья Долинина. Здесь, где похоронен самый близкий друг Г.А. Гуковского В.М. Жирмунский, где недалеко могила П.Н. Беркова. Словом, Г.А. Гуковский здесь был бы среди своих. Кладбище тихое, в глубине комаровские сосны и ели охраняют вечный покой, в канавах растут грибы.

Тишины на этом кладбище не нарушают даже частые экскурсии, которые привозят гиды на могилу А.А. Ахматовой. А мы приходили на это кладбище в гости к своим учителям, сверстникам и друзьям, здесь закончившим свое земное существование.

Человек умер, но ученый живет, пока с ним спорят как спорил он сам всю свою жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Г.А. Гуковский. Литературоведение и вопросы преподавания литературы в школе. — В кн. Г.А. Гуковский и С.В. Клитин. К вопросу о преподавании литературы в школе. Л. 1941, стр. 43.
- (2) Гр. Гуковский. Пушкин и русские романтики. Саратов. 1946, стр. 18.
- (3) Там же, стр. 21.
- (4) Там же, стр. 61.
- (5) Г.А. Гуковский. К вопросу об образе повествователя в "Миргороде" Гоголя. Ученые записки ЛГУ, №90. Серия филологических наук вып. 13. Л. 1948, стр. 107; см. также Г.А. Гуковский. Реализм Гоголя. М.-Л. 1959, стр. 207.
- (6) Там же, стр. 107.
- (7) Позднее А.Г. Дементьев стал правой рукой Твардовского в "Новом мире" и заработал себе репутацию либерала, но в 1949 г. он очень весело занимался травлей космополитов.
- (8) "Известия Академии Наук СССР". Серия литературы и языка 1972, т. XXXI, вып. 5, сентябрь-октябрь, стр. 484.
- (9) Там же, стр. 486.

ЧИТАЙТЕ

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

«Поиски»

1-4

...Преследование журнала "Поиски" — это трагедия и для читателя, которого обкрадывают, лишая его доступа к свежей мысли, к исканиям истины. ...

Георгий Владимов

ЗАКАЗЫВАЙТЕ "ПОИСКИ"

ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

Виктория Швейцер

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ по поводу 2-го тома ее "Воспоминаний"

Уважаемая Анастасия Ивановна!

Нелегко мне начать это письмо к Вам — человеку, прожившему длинную и трудную жизнь, много видевшему и много работавшему. Причина, заставляющая меня это сделать — вторая часть Ваших "Воспоминаний", напечатанная в журнале "Москва" (№№ 3,4,5 за 1981 г.). Я не буду говорить о Ваших воспоминаниях в целом. Вы написали свою книгу, как хотели, как могли — это Ваше право писателя. Читателям может нравиться или не нравиться Ваша книга, они могут читать или не читать ее — это их право. Я не буду даже говорить о том, как заметно на протяжении книги меняется Ваше отношение к Марине Цветаевой — одной из Ваших главных героинь (первая — Вы сами, это естественно в мемуарах) — из восторженного становясь отчужденно-оценивающим, временами даже раздраженным. Это тоже Ваше право человека и писателя — в разное время по-разному относиться к своей сестре, как и к героине своего литературного произведения.

Я — как читатель и как человек, любящий Цветаеву и пишущий о ней, хочу знать о ней правду, как бы ни была она трудна и горька, потому что только правда может помочь нам, а тем более будущим поколениям понять жизнь и творчество Поэта в его соотношении со временем. Вот поэтому я и позволю себе писать Вам, ибо в Вашей книге

не только не вся правда о Марине Цветаевой, но и не все — правда, а грубо говоря, в Вашей книге есть ложь. А так как Вы действительно последняя из оставшихся в живых близких Цветаевой, то утвержденная Вами ложь может со временем показаться или быть выданной за правду.

Из первого тома ваших "Воспоминаний" напомним только о "почтальонской сумке", с которой якобы ходила Цветаева в Москве в годы после революции. Эта прямая ложь уже тогда меня поразила. Ведь Вы, которая *видела* у сестры эту сумку, не могли не знать, почему Цветаева ходила *именно с этой сумкой*. Вот как описала себя сама Марина Цветаева: "... в зеленом, вроде подрясника, — платьем не назовешь (перифразировка лучших времен пальто), честно (то есть — тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, *офицерская* уже, сумка (коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос), *снять которую сочла бы изменой* и которую сняла только на третий день по приезде (1922 год) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга" (подчеркнуто мной — В.Ш.). Очерк "Герой труда" (Записи о Валерии Брюсове)".

Что сумка? Мелочь? Конечно, мелочь, деталь. Но — какая значительная. Ведь это жена белого офицера выступает с эстрады в "красной Москве". С офицерской сумкой Цветаева — Цветаева: человек смелый, независимый, верный долгу — как она его понимала, бросающий вызов миру. С "почтальонской" сумкой, которую Вы ей вручили, она выглядит нелепо и жалко: то ли странная чудачка, то ли бедная неудачница, не умеющая достать приличного дамского "ридикюля". Зачем Вам было совершать за Марину Цветаеву эту измену?

Однако, я хочу говорить о последнем периоде жизни Цветаевой, свидетельницей которого Вы не были, но о котором Вы пишете. Касаясь вопроса возвращения Цветаевой в Советский Союз, Вы вспоминаете свой разговор с сестрой во время Вашего посещения ее в Париже в 1927 г.: "Наразочаровавшись, устав от безотрадности дней, она отвечала, что у нее ни на что уже нет сил, тем более на такой трудный поступок, как подняться всей семьей — на отъезд, ни сил,

ни — откуда взять средства, когда еле хватает — на день...”^{*} И дальше: ”Не раз вспоминала о Чехии, где ей хотя и нелегко жилось (с 1922 по 1925 гг.), но где ей правительство, как и многим русским писателям, выплачивало пенсию — прожиточный минимум семьи. Но и туда вновь вернуться не хватало ни воли, ни сил, ни средств” (с. 132). Во всем этом душещипательном пассаже есть только одна правда — что Цветаева всегда, начиная с революции, жила материально очень тяжело. Остальное — неправда. Сил у нее было на десять жизней, она сама неоднократно это повторяла, и ведь хватило ей и сил и средств вернуться в Советский Союз через 12 лет после этого, приводимого Вами разговора, когда она сама решила, что *должна* ехать. И воля у нее была, мне кажется, наредкость сильная; если взглянуть на всю жизнь Цветаевой, понимаешь, что она всю ее прожила по своей воле, наперекор обстоятельствам. Цветаева *не хотела* возвращаться в Советский Союз, не хотела никогда, очень трезво (в отличие от своих мужа и дочери) понимала ситуацию на родине, не любила — и никогда не приняла и не полюбила — ни большевиков, ни советской власти. Как, впрочем, и советская власть, не принявшая ее, не сделавшая ничего, чтобы помочь Цветаевой — выжить. Вот это и есть то главное, что Вы стараетесь не просто скрыть (умолчать), но переиначить. В письме к В.Ф. Булгакову (последнему секретарю Л. Толстого, содиректору Цветаевой по пражскому альманаху ”Ковчег”) Марина Цветаева сказала определенно: ”Может быть, в Россию придется вернуться* (именно *придется*, — совсем не хочу!)”. К слову ”вернуться” она сделала сноску: * В случае переворота, не иначе, конечно!” Это письмо было напечатано в сборнике ”Встречи с прошлым” (вып. 2, М., ”Сов. Россия”, 1976, с. 217), конечно, с соответствующими купюрами, как все, что не угодно советской цензуре. Но подлинник его хранится в ЦГАЛИ — прочтите, если Вам выдадут из спецхрана. У Цветаевой много прямых высказываний разных лет о том, что она не хочет возвращаться в Советский Союз (думаю, Вы

* Анастасия Цветаева. Воспоминания. Журн. ”Москва”, М., 1981, №5, с. 132. В дальнейшем все ссылки на этот номер журнала будут даваться указанием страницы в скобках

их знаете не хуже, чем я), да это видно и из всего контекста ее стихов и прозы. Я не буду больше цитировать. Она вернулась в Советский Союз, когда *пришлось*, вернулась по своей воле, по своему всегдашнему чувству долга: дочь и муж ее были уже в Москве, она понимала, что им может грозить. За пять дней до отъезда на родину она писала близкому другу: "... выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась". Все остальное, что способствовало ее отъезду: нищета, одиночество, отчужденность, особенно обострившаяся, когда стало известно, что муж Цветаевой С.Я. Эфрон был связан с ЧК, — могло быть только поводами, подталкивавшими, а не основной причиной.

Что касается чешского пособия ("иждивения", как говорила Цветаева), то для получения его Цветаевой не надо было возвращаться в Чехию: она получала "иждивение" не только в 1927 г., когда Вы гостили у нее в Париже, но и годы спустя. Стараниями друзей ей присылали его из Праги в Париж.

Вы даете читателям понять, что Цветаева в эмиграции жила материально очень тяжело. Да, это правда. Даже среди очень бедной тогдашней русской эмиграции ее семья была из беднейших. Но я хочу спросить — а Вы в это время в Советском Союзе — процветали? Катались, как сыр в масле? Не голодали вместе со всем народом с начала коллективизации и до возвращения из ссылки в 1958 г.? Об этом нет ни слова в Ваших воспоминаниях. При всех материальных трудностях, неладах с редакторами, семейных сложностях Цветаева в Париже (в отличие от Вас в Москве) жила без чувства страха перед арестом, с которым десятки лет жили все советские люди. Она не подвергалась издевательствам следователей и не погибла в лагере, как сотни советских писателей. И я надеюсь, что Вы не уговаривали ее вернуться в Советский Союз.

Вы обходите молчанием вопрос о том, почему Вы не встретились с сестрой, когда она приехала на родину в 1939 г. Неужели Вам стыдно признаться, что к тому времени Вы были уже арестованы — без всякого преступления, разумеется. Свое пребывание на Дальнем Востоке в 1943 г. Вы маскируете, как это принято в официальной литературе, ссылкой на войну. Зачем? Не издевательство ли это над

своей собственной жизнью и судьбами миллионов Ваших товарищей по несчастью?

Я подхожу к главному, ради чего я взялась за это письмо. К гибели Цветаевой, собственную концепцию которой Вы не просто выдвигаете, но пытаетесь утвердить веским авторитетом ближайшей родственницы, "сиамского близнеца", "неразлучной". Именно на этом основании Вы утверждаете: "Я убеждена, что не ошибаюсь. Ошибутся те, кто будет мне возражать" (с. 133). Я буду Вам возражать. И постараюсь возражать Вам авторитетом фактов. Мне кажется, Вам давно надо оставить навязчивое повторение слова "неразлучная". Ваша "неразлучность" с сестрой кончилась после одновременного вашего замужества в 1912 г. — это видно и из Вашей книги. Определенная близость еще продолжалась, когда волею революции в 1917 г. вы оказались врозь: Марина Цветаева — в Москве, Вы — в Крыму. С тех пор фактически вы больше почти не были вместе, если не считать нескольких месяцев в 1921-22 гг. и двух-трех недель в Париже в 1927 г. Перечитайте собственные страницы, посвященные Вашему приезду в Москву весной 1921 г.: по ним видно, что прежней душевной близости уже нет; помяв вас обеих, жизнь изменила и развела вас. В Ваших словах чувствуется раздражение Мариной; она через несколько дней после Вашего приезда говорила В.К. Звягинцевой: "Я не могу жить с Асей, она меня раздражает!" В.К., передавшая мне эти слова, очень удивлялась, потому что до Вашего приезда Цветаева очень Вас ждала и хотела быть с Вами. Как в большинстве семейных конфликтов, и в этом один виновник — жизнь. Однако, мне кажется, что с того времени Вы не имеете уже права выступать "от имени Марины" или "от имени нас обеих" и претендовать на исключительное понимание душевного состояния, переживаний и поступков Марины Цветаевой.

Поражает бестактность и безвкусица, с которыми Вы излагаете обстоятельства, при которых узнали о трагической гибели Вашей сестры. На пяти страницах (133-138) Вы разместили свои сны, голоса травы, рассказ о своей педагогической деятельности и описание внешности своего ученика, описание мертвых мух, рассказ о своем мастерстве художника-портретиста... Вы любуетесь собой и своими стра-

даниями. Нет здесь только одного — прямых слов о той страшной ситуации, в которой Вы узнали об этой страшной смерти. И почему именно для этой части мемуаров Вы приберегли историю юношеской попытки самоубийства Цветаевой (попытки ли? Может быть, только письма? Может быть, вся "попытка" кончилась письмом, так и не отправленным?). Не для того ли, чтобы перенести центр тяжести самоубийства Цветаевой с причин общезначимых на чисто личные? Или подчеркнуть склонность Цветаевой к самоубийству с молодости? Ведь все, что Вы написали об этом, сводится к официальному штампу "по семейным обстоятельствам". Но оставляю в стороне "литературную часть" Вашего рассказа о смерти Марины Цветаевой и постараюсь извлечь из него факты и утверждения.

Ваше главное утверждение сводится к тому, что ни писатели и писательские организации, ни сама советская система не виноваты в смерти Цветаевой. О первом Вы пишете прямо: "Я отвергаю ходячее мнение, что Марина Цветаева погибла будто бы — по вине писателей, не помогших ей в трудные военные дни" (с. 133). Вам возражают Борис Пастернак и Константин Федин. В письме жене от 10 сентября 1941 г., только что узнав о гибели Цветаевой, Пастернак писал: "Какая вина на мне... Это никогда не простится мне". * Федин относился к моральной стороне события иначе. В письме А.Т. Твардовскому по поводу моего очерка о смерти Цветаевой "Поездка в Елабугу" (очерка, в котором не упоминалось, конечно, его имя) Федин писал весной 1968 г. — я помню дословно: "Доколе нам нести бремя этой вины?" В предыдущих словах говорилось — но их я не запомнила дословно — о том, что Федин и Асеев руководили тогда писательскими делами в Чистополе и (это очень неопределенно было выражено) как-то не помогли Цветаевой... После письма Федина мой очерк не был напечатан в "Новом мире"**. Федину простительно: как всякий советский вельможа, он был убежден, что если о вине про-

* "Вестник Русского Студенческого Христианского Движения" 1976, №106, с.222

** Без моей подписи он был опубликован в книге: Марина Цветаева. Неизданные письма. ИМКА-Прессь Париж, 1972, с.639

молчать, то ее как будто и не было. Но Вам, взявшейся восстановить причины и обстоятельства гибели Вашей сестры, правда необходима. Двумя строками ниже цитированного мною Вашего утверждения Вы пишете: "Не оправдать и одного известного поэта... его письменно просила, умирая, Марина, растить ее шестнадцатилетнего сына" (с. 133). Это же повторено на стр. 141 с цитатами из предсмертных писем Цветаевой. И опять Вы не называете этого писателя. Излишняя деликатность. Назову я: это Николай Асеев. Только полным отчаянием и растерянностью Цветаевой перед смертью, только ее безграничным одиночеством можно объяснить факт, что она обратилась за помощью для сына к Асееву (мне и елабужские хозяева говорили об этом письме, но в более сдержанном, чем у Вас, тоне: чтобы позаботился о ее сыне). Она имела возможность узнать Асеева в Москве, обращалась к нему в Чистополе — более неподходящего человека она не могла выбрать. Женщина, бывшая в то время председателем Чистопольского горсовета, рассказала мне, что Асеев отказался взять к себе эвакуированного в Чистополь отца, не помогал ему, когда того поселили отдельно, так что горсовету приходилось Асеева увещевать и напоминать ему о сыновнем долге. Как Цветаева с ее острой прозорливостью могла не разглядеть этого человека? Кстати, о письмах. Вы пишете о трех, елабужские хозяева говорили мне о двух письмах: к сыну и к Асееву. Они же сказали, что письма забрала милиция — больше они ничего не знали. Сохранились ли эти письма хотя бы в копиях? Читали ли Вы их или знаете о них с чьих-то слов? Откуда Вы знаете те слова, которые цитируете? Кто и насколько достоверно рассказывал Вам о собрании в Чистополе, на котором Цветаевой отказали в работе судомойки? Все это важно для биографов Цветаевой, это то, что со временем может совсем исчезнуть. Но именно об этом — о фактах особенно важных — Вы умалчиваете.

Второе Ваше утверждение, которое Вы прямо не формулировали, но которому подчинен весь ход Вашего рассказа, заключается в том, что никаких особо тяжелых обстоятельств, могших привести ее к отчаянному шагу, в жизни Цветаевой на родине не было. "Еще за 12 дней до смерти... *бодро* сказала группе писателей..." (с. 133, под-

черкнуто мною — В.Ш.). Откуда это "бодро"? Кто мог так определить интонацию Цветаевой? По рассказам хозяев, слышанным мною 6 лет спустя после Вас, по городу водили эвакуированных — всех вместе, писателей и не-писателей — из дома в дом, чтобы как-то разместить огромное для маленького городка количество приезжих. Привели к Бродельщиковым такую группу, человек 15. Цветаева вошла первая и, пройдя в комнату, предназначенную хозяевами для эвакуированных, сказала: "Я здесь останусь, никуда больше не пойду". Мне в этих словах услышались усталость и безразличие — остаться, чтобы никуда больше не ходить. Я не настаиваю, что сорок лет назад Цветаева произнесла именно эти слова, а не те, которые приведены Вами — хозяева могли сказать мне так, а Вам по-другому; было бы чудом, если бы они запомнили и могли восстановить малозначительные слова двадцатилетней и больше давности. Я просто убеждена, что слово "бодро" принадлежит Вам, оно тенденциозно, как многие подобные ему слова, расчетливо вставленные в Ваше повествование.

Вы пишете о Цветаевой перед самоубийством как об *"истерзанном травлей на Западе, разлукой с близкими существе"* (с. 148, подчеркнуто мною — В.Ш.). Естественно, "разлуку с близкими" читатель может списать на счет войны. Правда, на сс. 135 и 136 Вы туманно намекаете на какие-то не совсем обычные (вернее, для тех, кто знает — совсем обычные) события в семье Цветаевой, происшедшие между 1939 и 1941 гг.: "в августе уехала Аля... в октябре выбыл Сережа". Но ведь уже снова вырастает поколение, которое ничего не знает и не поймет из Ваших намеков, и тем, что Вы не называете вещи их именами, Вы способствуете тому, чтобы не знали и не понимали. Разумеется, существо Цветаевой могло быть истерзано только травлей на Западе — разве бывало что бы то ни было терзающее на нашей прекрасной родине, куда она с таким энтузиазмом вернулась? И где ее, как Вы нам сообщаете, "берегли все" (с. 153). Конечно, нет. Бывали, возможно, отдельные недостатки: вот "разлука с близкими" или недовольство Мура (сына Цветаевой) отсутствием хорошей бумаги и карандашей для рисования: "А в войну взять было — негде" (с. 153). Ну что ж, война, потерпите, будут вам близкие,

будут и бумага с карандашами... Для Вас самой все это не звучит кошунством? Для меня — и уверена, что для всех, кто знает правду — звучит. Если вместо "Аля уехала" и "Сережа выбыл" сказать, что через два месяца после возвращения Цветаевой на родину была арестована ее двадцатисемилетняя дочь и следующие 17 лет провела в лагерях и ссылках (а как тяжело ее пытали! — она сама мне рассказывала, но Цветаева, слава Богу, об этом никогда не узнала), что вслед за дочерью арестовали мужа Цветаевой, который был расстрелян в 1941 г. (но Цветаева, к счастью, не узнала и об этом, она носила ему передачи до самого отъезда в эвакуацию), — если сказать все это, читатель более определенно почувствует, как и чем могла быть истерзана Цветаева накануне смерти, кроме "травли на Западе".

(Кстати, никакой специальной "травли" Цветаевой в эмиграции никогда не было. Была сложная и трудная жизнь Поэта в разрыве со временем, в неприятии своего времени, в нежелании сколько-нибудь к нему приспособливаться. Было непонимание критиков и редакторов — но было и понимание тех из них, кому ближе было искусство, чем политика. Бывала очень резкая полемика, в которой и сама Цветаева не давала спуска своим оппонентам. Был небольшой круг почитателей — читателей и слушателей. Был, очевидно, разрыв многих отношений после бегства С.Я. Эфрона в Советский Союз осенью 1937 г. Но "травли" не было, и еще в 1938 г. Цветаева печаталась в "Современных записках" и в "Русских Записках").

До ареста мужа Цветаева с семьей жила в Болшево на казенной даче (керосинки, плита, погреб, уборная во дворе); после его ареста дачу опечатали, и она с сыном осталась буквально на улице, находя пристанище то у одних, то у других родственников и знакомых. Эта бездомность и привела ее в Голицыно, где ее так трогательно любила, жалея и берегла, по Вашим словам, директор Дома творчества С.И. Фонская, а по словам Фонской, и сам директор Литфонда: "У нее с сыном была одна путевка. Директор Литфонда, коммунист, чистый человек, благородный, долго держал их..." Нет греха, — говорил мне, — чтоб кормить человека! Корми! На меня вали — я отвечу! Никогда не считай кусков! *Надо* кормить человека? Корми! Как же не кор-

мать мальчика? Он же и растет..." (с. 152-153, подчеркнуто А. Цветаевой). Все правильно и даже сентиментально. И всех дел-то было не требовать с Цветаевой лишних денег или "выкроить" одну порцию "для мальчика", как всегда во всех советских столовых "выкраивают" для собственных мальчиков, девочек, бабушек, дедушек, тетя и племянников... Но вот как писала об этом в те дни (весной 1940 г.) сама Марина Цветаева: "... встречаю у станции С.И. (Фонскую — В.Ш.) и, радостно: — Ну, что — получили деньги? (я вчера вечером, наконец, принесла ей остаток долга...) — Да. — Значит, мы в расчете? — Да, М.И., но когда же — остальное? — Т.е. какое остальное? Я же внесла все 830 р.! — Да, но это — одна путевка... — Т.е. как — одна? — Да, плата за одну путевку — 830 р., а за две — 1660 р. — Вы хотите сказать — за два месяца? — Нет, за один. Последнее постановление Литфонда, Вы, очевидно, меня не поняли: пользующиеся Домом отдыха свыше 3-х месяцев платят 830 р. — Но мы же не в доме, мы в доме — часу не жили, мы же еще за комнату платили 250 р.! — Я им говорила, что Вы мало зарабатываете... — И еще скажите. Скажите, что я больше 850 р. за двух платить не могу. — Тогда они сразу снимут одного из вас с питания.

Расходимся. Два часа спустя прихожу в Дом завтракать — в руках, как обычно, кошелка с Муриной посудой. У телефона — С.И. — "Она говорит, что столько платить не может..." — Пауза. — "Снять с питания? Хорошо. Сегодня же? Так и сделаю".

Иду в кухню, передаю свои котелки. Нюра: — Да разве Вы не завтракаете? — Я: — Нет. Дело в том — дело в том — что они за каждого просят 830 р. — а у меня столько нет — и я вообще честный человек — и — я желаю им всего хорошего — и дайте мне, пожалуйста, на одного человека.

Зашла С.И., предложила сегодня меня еще накормить, предложила мне воды, воду я выпила, от еды отказалась..."*. Я потому цитирую весь этот длинный эпизод, что Вы можете и не знать этого письма: оно опубликовано на Западе. Но оригинал его хранится в ЦГАЛИ — прочтите,

* Письмо к Н.Я.Москвину от 28 марта 1940 г. "Вестник РХД", №128, с.182

если Вам выдадут из спецхрана. Вам не слышны слезы в словах Цветаевой? Слезы, так диссонирующие с радужным рассказом Фонской, приведенном в Вашей книге? Я верю, что Фонская рассказывала Вам именно так: и та Цветаева любила, и этот обожал, и все помогали, и все берегли... На моем счету уже четверо (и среди них даже М. Шагинян!) говорившие, что, если бы они были с Цветаевой в эвакуации, самоубийства бы не произошло. Мне кажется, трое из них ошибались (Шагинян лжет): самоубийство поселилось в душе Цветаевой задолго до эвакуации, было делом почти решенным.

Неужели Вы ни от кого не слышали, что Цветаевой многие сторонились, что в писательских кругах называли ее заглаза "белогвардейкой" (может быть, именно поэтому она и оказалась "недостойна" работы в Чистополе?), что книга ее стихов, которую она готовила без надежды на издание — только чтобы проявить "добрую волю" — была "зарезана" Корнелием Зелинским в циничнейшей рецензии? Как зловеще должны были прозвучать Цветаевой его слова: "Советский читатель не будет поминать Цветаевой "старые грехи" и не будет требовать от поэта самооправданий за прошлое". Неужели никто не показал Вам фразы, которую Цветаева написала на рукописи этой своей погибшей книги: "Человек, смогший аттестовать такие стихи как *формализм* — просто *бессовестный*. Я это говорю — из *будущего*"? Марина Цветаева надеялась, что будущее будет за нее, восстановит справедливость — могла ли она предположить, что Вы, ее родная сестра, окажетесь на стороне прошлого, будете способствовать сокрытию истины. Совсем недавно мне пришлось сверять тексты разных изданий Цветаевой. Я уже давно догадывалась, что Цветаева, всю жизнь принципиально не желавшая "ничего облегчить читателю", в сборнике, который она готовила по приезду на родину, отказалась от этого принципа, ради большей понятности (скорее для цензора и редактора, чем для читателя) озаглавила многие стихи, сделала кое-какие поправки. В этот раз меня ошеломило открытие: одно из трагичнейших своих стихотворений "Поезд Жизни" Цветаева переименовала просто в "Поезд". Без сомнения, она надеялась, что стихи "про поезд" смогут проскочить мимо редактора и цензора.

На минуту мне показалось, что я могу себе представить, с каким чувством вычеркивала Цветаева слово "Жизни"... Понимаем ли мы все, до какой степени отверженности и отчаяния надо было дойти, чтобы *Цветаева* делала такие изменения в своих стихах?

А как Цветаева ходила в писательские организации с просьбами о прописке и о комнате — Вам никто не рассказал? Или как Ваша общая сводная сестра Валерия Ивановна просила не упоминать в своем доме имени Марины Цветаевой? Вы приводите слова ее письма: "Муси, автора "Волшебного фонаря", нет на свете" (с. 133). Видно, для нее Марина Цветаева так и осталась автором "Волшебного фонаря" (1912 г.!), о других ее стихах и прозе ей недосуг было узнать? Вы с гордостью и даже с вызовом пишете: "От ударов материального неустройства Цветаевы не умирают" (с. 133). Но разве все, о чем я говорю — удары материального неустройства? Разве аресты близких (в том числе и Ваш), нищета, бездомность, непонимание, отверженность — явления только материального порядка? Разве все это не достаточные причины, чтобы лишить человека "бодрости" и привести к самоубийству?

Итак, Вы утвердили, что буквально до последних дней в Елабуге Цветаева была "бодра", даже "после неудачного устройства в Чистополе" продолжала искать работу — что Вы расцениваете как желание жить. "Стало быть, позднее случилось что-то, прекратившее ее желание биться за жизнь" (с. 133). И тут на сцену выступает сын Цветаевой Мур (Георгий Сергеевич Эфрон), чтобы продемонстрировать Ваше третье утверждение — в самоубийстве матери повинен именно он. Это одновременно очень удобная для официального употребления и романтическая формула: поверив мальчишеской угрозе самоубийства, Цветаева "умирала, чтобы спасти его — от смерти" (с. 149). Вся эта фраза Вами многозначительно подчеркнута. Но точно ли это? Будет ли принятие такой формулировки справедливо по отношению к государству, загнавшему Цветаеву в петлю, и к ее сыну — мальчику, в силу воспитания, возраста и все тех же невыносимо-тяжелых обстоятельств, которые он разделял с матерью, не умевшему понять, поддержать, удержать ее от рокового шага? Повидимому, Ваши рассуждения о

Муре и его характере (с. 148) совершенно справедливы. Кроме, разве, "всеобщего восхищения" — признавая его красоту, образованность, одаренность, ни один человек, знавший Мура, не сказал мне о нем доброго слова — можно ли это назвать восхищением? Да, Мур был холоден и груб с матерью — об этом вспоминают все, видевшие их вместе. И Цветаева сама была полностью виновата в том, что он вырос таким: ее непомерная любовь, восхищение и баловство не могли сделать его иным. Да, он мог сказать эту страшную фразу, которую передал Вам А.А. Соколовский: "Ну уж кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами" (с. 146). И вот из этой фразы Вы строите свою психологическую версию гибели Цветаевой, отменяя в сторону все реальные жизненные обстоятельства. Вы пишете: "Она не смерть искала в те дни — искала работы, намеревалась продать столовое серебро, поселясь в найденной комнате. После отказа в работе в Чистополе — хотела поискать работы в пригородном совхозе" (с. 147. Какой работы? Что она могла делать в совхозе? Откуда это известно? Все это вопросы совсем не праздные, но ответа на них Вы не даете). Вы уверены, что, делая все это, Цветаева не думала о смерти? Что мысли о конце жили в ней задолго до войны и роковых слов сына? До войны она сказала В.К. Звягинцевой: "Когда я поднялась на палубу парохода, я поняла, что все кончено". Речь шла о пароходе, увозившем ее из Гавра в Советский Союз. И еще: "Стихи мне не помогают уже два с половиной года". Это было сказано в первые дни войны, значит, стихи (даже стихи!) перестали помогать со времени возвращения домой. В записной книжке между 5 и 26 сентября 1940 г. Цветаева признается: "Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищуща глазами — крюк... Я год примеряю смерть" *. Год — значит, если не сразу по приезде, то со времени арестов близких. Возможно ли в свете таких настроений (а я не сомневаюсь, что Вы читали эти "Неизданные письма") говорить о "бодрости", о желании "биться за жизнь"? После ареста мужа Цветаева жила только ради Мура. Он — единственное, что привязыва-

* Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, ИМКА-Пресс, 1972, с. 630

ло ее к жизни, все остальное — выталкивало. И все-таки не его страшные слова, брошенные ей в лицо в Елабуге, не его угроза умереть, если она останется жить, заставили Цветаеву уйти из жизни. Сознание того, что в этом мире, в этой стране и ситуации она, обремененная своей поэзией, своей "неспеваемостью", своим эмигрантским прошлым, только мешает какому бы то ни было устройству жизни сына, привело ее в петлю. Ведь в нашем государстве "сын за отца не отвечает". Отец уже "изолирован", матери не будет — мальчик чист перед советской властью, он может спокойно начинать жизнь. Не это ли имела в виду Цветаева, когда еще по дороге в эвакуацию, навязчиво возвращаясь в разговоре к теме самоубийства (до Елабуги и до поездки в Чистополь) сказала Л.К. Чуковской: "А я знаю, что моему сыну будет лучше, если меня не будет". Так что не столько "трагедия двух характеров в тяжелые годы войны" (с. 156), сколько трезвое понимание своего положения в советском обществе, невозможность к нему приспособиться были причиной самоубийства Марины Цветаевой.

И последнее — о Муре. Утвердив его единственным виновником смерти матери, Вы решили зачем-то присоединиться к С. Грибанову * и "реабилитировать" Мура по гражданской линии. Будучи плохим сыном своей матери, он зато был замечательным сыном своей матери-Родины (впрочем, он родился в Чехии) — вот ради чего Вы присоединяетесь к пошлой и насквозь фальшивой статье Грибанова. О Грибанове говорить не стоит — он выполняет "социальный заказ". Если уж советская власть решила "признать" Цветаеву, ей нужна правильная биография, обыкновенная (не безымянная) могила с нормальным советским памятником, а заодно и сын — отличник боевой и политической подготовки. А Вам это зачем? Зачем Вам авторитетствовавшую могилу Мура — с обелиском!? Кто это существовавшую могилу Мура — с обелиском (!)? Кто это в 44-м году поставил обелиск рядовому солдату, не числившемуся в списках ни живых, ни мертвых, ни пропавших без вести? Его поставил Грибанов или кто-то с ним

* Станислав Грибанов. Строка Цветаевой. Журн. "Неман", 1975, №8, с. 113

связанный... Для чего? Для еще одной фальсификации. Это очередное издевательство над памятью Цветаевой и всей ее трагической семьи. Мальчик, необычайно одаренный и образованный (не будем здесь говорить о его характере), потерявший всех, погиб, пропал, растворился в небытии войны, как его отец растворился в небытии советской тюрьмы, как мать растворилась среди безымянных елабужских могильных холмиков — для чего тревожить его прах, подыскивать ему могилу "неизвестного солдата"? Все, что пишет С. Грибанов, лишено малейшей убедительности. "Несколько недель он посещал лекции в Литературном институте", — пишет Грибанов (указ. соч., стр. 116). Что это значит? Если Георгий Эфрон был студентом Литературного института, почему его взяли в армию? Ведь у студентов тогда была бронь. Далее Грибанов приводит десятки имен от командира полка, где служил Мур, до работников Центрального финансового управления — это должно создать видимость достоверности. Читатель может узнать, сколько немцев уничтожил парторг т. Артамонов, скольким бойцам оказала помощь санитарка Зинаида Филатова, как проходил бой за деревню Друйка. Не узнает он ничего только о Георгии Эфроне. Как это ни странно, никто из опрошенных Грибановым лиц не помнит Мура. Нельзя же всерьез принимать слова командира роты, в которой якобы (обо всем, что рассказывает Грибанов, хочется сказать — "якобы") воевал Мур, что он помнит Георгия Эфрона. Вот все, что он "помнит": "Скромный. Приказ выполнял быстро и четко. В бою был бесстрашным воином..." Но ведь это самый элементарный штамп официальной "положительной" характеристики. Что-то, а уж "скромным" Георгий Эфрон не был — Вам ли этого не знать? К тому же был он человеком таким незаурядным и необычным в советских условиях, что те, кто с ним встречался, не могли не обратить на него внимания, не запомнить его. Когда я прочла статью Грибанова, первое ощущение было — он не нашел ни одного достоверного факта о Муре. Неужели Вы этого не увидели? Кроме писем, которые ему предоставила А.С. Эфрон и которые, вероятно, значительно "обработаны", ни одного свидетельства о службе Мура в армии, повидимому, нет. Простите, но я не верю даже официальной записи о его ранении, ко-

тору приводит С. Грибанов. Если он "убыл в медсанбат", то почему он туда не "прибыл" или почему его не нашли среди мертвых? Ведь это не 41-й год, когда в панике отступлений было не до погибших...

После войны в Москве был слух, что Мур даже не доехал до фронта, что его за "строптивость" застрелил какой-то сержант прямо в казарме. Я много лет спустя слышала это от двоих, не связанных между собою людей. Не могу объяснить, как это увязывается с письмами Мура с фронта, но уверена, что весь "поиск" С. Грибанова связан с тем, чтобы этот слух официально опровергнуть. А зачем Вам к этому присоединяться? Что до патриотических писем с фронта, о которых пишете Вы и которые цитирует Грибанов, то ведь ни Вы, ни он ни словом не обмолвились, что это письма — подцензурные, к тому же цензурированные дважды: военной цензурой и лагерной. Мог ли Мур в них писать что-нибудь, не созвучное официальной линии? У меня есть копии двух его писем, переданных "с оказией" вскоре после мобилизации. Вот отрывок из первого: "Обстановка: 100% — уголовные, libérés des prisons — воры, мошенники и спекулянты (буквально). Мат круглый день, воровство страшное и спекуляция. Из месяца, что я нахожусь здесь, 2 недели я болею (нога). Отношение ко мне плохое: самое бранное слово — "интеллигент"; полное отсутствие физических сил определяет отрицательное ко мне отношение... Основные работы: чистка снега, рубка и пила дров, разгрузка дезокамер в бане. "Гоняют" даже больных; приходится искать приюта в клубе (красить рейки, переписывать что-нибудь). Унижений очень много. Единственный разговорный мотив: еда и воспоминания о лагерях и тюрьмах. Очень прошу Вас помочь мне чем угодно через Алешу или тетку Елизавету Яковл. (К4-95-71), голодаю. Поговорите срочно с Сельвинским об улучшении моего положения. Пусть Алеша поскорей приезжает; нужно все: и деньги, и хлеб. Простите беззастенчивость. Читаю Маллармэ. Не забывайте! Мур". Во втором письме есть весьма определенная фраза: "на рожон я не полезу"... Похоже все это на идеальный образ советского воина, который пытается посмертно навязать Муру С. Грибанов? Или на Ваше "его, видимо, берегли там, держали в тылу" (с. 139)?

Письма Мура скорее наводят на мысль о том слухе...

Зачем Вам принимать участие в неблагоприятном деле фальсификации образа и трагической судьбы Марины Цветаевой?

Я пишу Вам это письмо в дни, когда со смерти Цветаевой в Елабуге исполнилось сорок лет. Я не думаю, что она умерла слишком рано; я думаю, что она умерла вовремя для себя, вовремя, чтобы не испытать новых страданий: узнать о расстреле мужа, пережить гибель сына или дождаться возвращения дочери и узнать о ее муках. Я думаю только о том холодном ужасе, с которым в душе Цветаева умирала. Ради страшной жизни и гибели всей этой цветаевско-эфроновской семьи не должны ли мы все думать только о правде? Разве "пепел Клааса" не стучался в Ваше сердце, когда Вы писали свои воспоминания?

Я сознаю, что в советском журнале или издательстве Вы не могли бы напечатать ничего из того, о чем я пишу Вам и что Вы знаете. Правда почти не пробивается на страницы советских изданий (отчасти поэтому я и уехала из Советского Союза). Но *написать* правду Вы могли, это был Ваш долг. Я не могу позволить себе советовать Вам напечатать эту правду за границей; у Вас семья, внуки, Вы думаете об их благополучии. Но Вы могли бы написать правду для будущего, "в стол". А если и это Вам не по силам, есть еще один хороший способ не принимать участия во лжи — молчать.

3 сентября 1981 г.
Амхерст, Массачусетт
США

ПОЛЕМИКА

По поводу открытого письма В. Швейцер А.И. Цветаевой

Автор Открытого письма, распространяемого достаточно широко, может предполагать возможность получения ответа от любого человека, на которого это письмо произведет впечатление. Я читала обсуждаемые в письме "Воспоминания", очень давно знаю А.И. Цветаеву, несколько лет знала и В. Швейцер. Открытое письмо В. Швейцер,

написанное в полном сознании неравности позиций (В. Швейцер вольна писать и говорить все, что ей вздумается, а 87-летняя А.И. Цветаева не имеет этой возможности) поразило меня.

Я удивлена, сколь односторонне В. Швейцер понимает, как М.И. Цветаеву, биографию которой она упорно использует только для обличения советской власти, сводя творчество М.И. Цветаевой к политической конфронтации* так и людей, близких М.И. Цветаевой, но отличающихся от В. Швейцер по культуре и отношению к жизни. Открытое письмо вызвано, главным образом, тем, что В. Швейцер не смогла понять психологию автора "Воспоминаний" (иначе в Открытом письме не было бы нападок на А.И. Цветаеву за ее доверие к лживым речам С.И. Фонской и к статье С. Грибанова), не смогла понять, что при своей глубокой религиозности А.И. Цветаева приняла арест, тюрьму, допросы, этапы, лагерь, вшивые корыта и многое, многое другое совсем не так, как это представляется В. Швейцер. Не поняла В. Швейцер и того, что слова Б.Л. Пастернака о вине совершенно не говорят о его прямой, конкретной виновности. Б.Л. Пастернак считал себя виновным в смерти Фадеева. Такое ощущение вины — следствие чувства ответственности за то, что происходит в мире. Это — высокое, достойное всякого уважения чувство, а не слова, занесенные следователем в протокол и прочитанные прокурором.

Я думаю, что у В. Швейцер нет права осуждать А.И. Цветаеву за то, что она не написала о лагере, и давать советы "писать в стол" или молчать. А.И. Цветаева написала свою книгу, как могла, доверяя одним свидетельствам и отвергая другие, вполне искренне считая поводом гибели М. Цветаевой угрозу сына. Воспоминания А.И. Цветаевой, конечно же, более достоверны, чем рассказы бывшего

* Эта тема на самом деле не так уж проста: "Лебединый стан" М. Цветаева не опубликовала, "Перекол" не завершила... Что касается не почтальонской, а офицерской сумки, то такие сумки носили и Фрунзе, и Дзержинский. Знаком тогда были, кажется, лишь погоны. Все остальное в разнообразии тех дней расценивала как знак сама М. Цветаева, а не другие люди. Возможно, "приличный ридикуль", о котором упоминает В. Швейцер, скорее был бы воспринят как знак причастности классу "из бывших" (Ю.К.).

председателя Горсовета в Чистополе. Думаю также, что не надо В. Швейцер с таким пафосом заботиться о будущих читателях. Им помогут будущие комментаторы, легко объяснив, что значат слова "Аля уехала" или "Сережа выбыл", и почему А.И. Цветаева написала об этом так, а не по-иному. Ведь "Воспоминания" А.И. Цветаевой — это тоже факт русской культуры, знак времени.

В. Швейцер понимает все в меру своего разума — это естественно, однако вряд ли можно подменять собою М.И. Цветаеву и считать "открытием" (стр. 12) в постижении творчества М.И. Цветаевой то, что, по-моему, свидетельствует лишь о вкусе В. Швейцер. Я имею в виду изменение М. Цветаевой названия стихотворения 1923 г. Вместо прежнего сентиментального "Поезд жизни" в 1940 г. она назвала это стихотворение "Поезд". (Как у Горького — сначала было "На дне жизни", а потом стало просто "На дне").

Письмо В. Швейцер сбивчиво, но пафос обличения сохраняется в нем все время. Обличает В. Швейцер А.И. Цветаеву — в злонамеренной лжи, Валерию Ивановну Цветаеву — в недостаточной начитанности, Б.Л. Пастернака — в том, что он виноват в гибели М. Цветаевой. Когда В. Швейцер пишет "мне кажется", "я думаю", ей нельзя возражать — здесь она в своем праве. Но есть вещи конкретные, которые просто надо знать, и которых В. Швейцер не знает. Дочь М. Цветаевой А.С. Эфрон провела в лагере 8 лет и в ссылке 5, т.е. 13 лет, а не 17 (стр. 9). 10 лет в лагере и 7 лет в ссылке (всего 17 лет) была А.И. Цветаева. Дачу в Болшеве не заколачивали, в ней продолжали жить другие люди. Сын М. Цветаевой *был* принят в Литинститут; на 1-ом курсе тогда было лишь вечернее обучение, которое не давало освобождения от военной службы. М.И. Цветаева оставила не 2, а 3 предсмертных письма — елабужские хозяева могли этого не знать или забыть об этом. Перечень ошибок и неточностей всякого рода можно было бы продолжить.

Открытое письмо В. Швейцер в очень грубой форме затрагивает еще один более общий, но не менее важный вопрос: право на существование подцензурной литературы. Ответом на этот вопрос является то, что при всех не-

редко трагических трудностях подцензурная литература существует. И бывает, что она гораздо лучше иной неподцензурной.

8 ноября 1981 г.
Москва

Ю.Каган



Хочу вкратце и "нелицеприятно" написать Вам об открытом письме к Ан. Ив. Цветаевой.

От Вашего открытого письма впечатление у меня двойственное. С одной стороны я давно знаю эту старуху и не люблю ее. Она делает капитал на родстве с Цветаевой и на знакомстве с Горьким, и т.д. С другой стороны можно понять ее, судорожно бьющуюся за жизнь и признание. Вас она отталкивает ложью, меня бездарностью, завистью к сестре, ханжеством. Я не уверена, что она стоит Вашего недогования.

Мне кажется, что Вы должны были судить ее с более высокого уровня, опуская трусливые мелочи. *Не могла она* воспеть Марину за офицерскую сумку, не могла подчеркивать, что Марина не хотела возвращаться... Не нравятся мне Ваши слова: "Да... ее семья (в Париже) была из беднейших... а Вы в это время в Сов. Союзе процветали? Катались, как сыр в масле?"...

Нехорошо это вдвойне: она в это время была в лагере-ссылке, и как обыкновенная советская обывательница, каких *так много* было вокруг нас, она *стыдилась* писать, почему она не видела сестры в 1939 г. Ваша "смелость" из Амхерста в Москву меня удивляет. Да неужели все забыть, Вика? Допустим, Вы не знаете, насколько сегодня хуже, чем 20 лет назад и даже 5 лет назад. Но дозволено ли требовать правды и избличать А.И. — мол, близости с сестрой у нее уже не было. Вы правильно пишете на стр. 6 о бестактности и безвкусице, но зачем Вы *вообще* ей, узколобой, завистнице и приспособленке, все это пишете? Защищать Цветаеву? Ее лучшая защита — ее стихи, а на глупую А.И. никто внимания не обращает.

В чем однако Вы правы и что важнее, это стр. 6-8 о фальши насчет самоубийства... Но почему Вам бы в голову не пришло спорить с каким-нибудь Софроновым или Марковым, а от нее Вы *требуете* цветаевской высоты?

Словом, похоже как будто Вы *серьезного* писателя просите отчитаться, почему он не обвинил советскую власть в гибели Марины. Согласитесь, претензия не обоснованная. Писала не серьезная писательница, а мелкая, завистливая натура, и для знавших ситуацию смешно, что Горький ей, видите ли, симпатизировал, в то время как все знали, что он Асю не терпел, а любил Марину. Но ведь это был ее допуск-пропуск в сов. литературу!..

Кажется мне, что кончаете Вы весьма слишком нетерпимо-категорично. Мол, или говори правду, или молчи. Как тогда нам всем смертным жить в этой стране? В страхе и немоте! С 85-летней (или больше?) старухи Вы требуете правды, которая и молодым не под силу.

Не сердитесь. Вы заслужили честный ответ. Ваша нетерпимость заставила меня защищать старуху, которую я четко не люблю от Вас, которую я люблю. Она — отражение нашей вынужденной посредственности, и ей-Богу, Марине от нее ущерб небольшой. Вернее, *все* в Вашем письме правильно, кроме *тона*, требовательного, стыдящего и уличающего. (Это нас-то, загнанных кроликов!)

(Из Москвы. 23.11.81- автор — переводчик)



Вас здесь все дружно осуждают за "Открытое письмо". Зачем вы его написали — что можно изменить? И разве может человек в таком возрасте не обидеться и как-то еще измениться?

Я считаю, что возраст действительно снимает ответственность за поступки. Хочется ей уже на старости лет еще раз в Коктебель съездить...

(Из Москвы, конец декабря 1981 г. Автор — студент).

... ты сделала ошибку, написав в таком – обличительном, что ли, тоне. Вся правда на твоей стороне, а потому ты обязана была быть вежливой и снисходительной к ее старости и судьбе. Это прозвучало бы куда убедительней, чем выкрики "а разве вы!"

Смешно в такой сложной натуре, как Марина, объяснять все системой, точно так же равно неверно игнорировать систему. Ты чаще, чем нужно (выходит упрощенней) обвиняешь советскую власть – упрощенней и конъюнктурней, как это ни смешно, конъюнктурней наоборот. И не люблю я оттенок демагогичности, воспитанный нашим литературоведением, который в твоём письме резанул: "в дни, когда отмечается... со дня смерти". И все это ослабило твою позицию, с моей точки зрения абсолютно правую...

(Из Москвы, 19.12.81, автор – литературовед).



**НОВАЯ
КНИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«СИНТАКСИС»
ЦЕНА – 84 фр.фр.**



Coca-Cola

It's a real thing

Lenin

А. Косолапов (Нью-Йорк): Символы века. 1982

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЖУРНАЛА „А-Я“?

Журнал А-Я посвящен современному русскому искусству. На его страницах находит свое отражение творчество художников, живущих в Союзе, а также прослеживается судьба художников-эмигрантов, работающих в новых условиях. С размышлениями об искусстве выступают как сами художники, так и критики-искусствоведы.

Ряд статей и интервью журнала посвящен актуальным вопросам современного искусства. Раздел „Наследие“ содержит неопубликованные ранее материалы из истории русского авангарда. Рубрика „Галерея“ знакомит с новыми работами художников.

Журнал богато иллюстрирован цветными и черно-белыми репродукциями.

Стоимость подписки на четыре номера — 150 фр. франков
Стоимость одного номера — 40 фр. франков.

Адрес редакции:

A-YA Chapelle de la Villedieu, 78310 Elancourt, France

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| | |
|--|----|
| <i>Ф. Горенштейн.</i> Кошелочка | 4 |
| <i>Михаил Рейман.</i> Китайские впечатления. | 33 |
| <i>De Visu.</i> Сбывшееся пророчество. | 65 |
| <i>А.Н. Кленов.</i> Пушкин без конца | 90 |

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

| | |
|--|-----|
| <i>Сергей Довлатов.</i> Литература продолжается. | 132 |
| <i>А. Синявский.</i> О критике | 146 |
| <i>Саша Соколов.</i> На сокровенных скрижалях. | 156 |
| <i>Томас Венцлова.</i> "Литовский дивертисмент" Иосифа Бродского. | 162 |
| <i>М. Болховской.</i> Утопии в космический век | 180 |

ПАМЯТЬ

| | |
|--|-----|
| <i>И. Серман.</i> Григорий Гуковский. | 189 |
| <i>В. Швейцер.</i> Открытое письмо Анастасии Цветаевой. | 217 |
| Полемика по поводу открытого письма В. Швейцер А. Цветаевой | 233 |



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 40 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 90 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.

